



Владимир Лим

Горсть океана

Владимир Лим

Горсть океана

«Издательские решения»

Лим В.

Горсть океана / В. Лим — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-749505-3

Дальний Восток, Камчатка, маленький поселок на песчаном побережье... Именно здесь разворачивается действие рассказов и повестей Владимира Лима. Щемящие сюжеты вне времени и географии. Любовь, смерть, память, наследие рода — истории простые и вечные. И нескончаемые, как вдох и выдох океана, которые изо дня в день оставляют в памяти песка тающие следы.

ISBN 978-5-44-749505-3

© Лим В.

© Издательские решения

Содержание

От автора	6
Горсть океана	7
Зеркало	12
Светит месяц	29
Первые встречи	34
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Горсть океана

Владимир Лим

© Владимир Лим, 2016

© Павел Гончаров, иллюстрации, 2016

Редактор Ирина Белашева

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

Мы родом из СССР

«Советский Союз»... Когда-то этот трофейный немецкий пароход ходил из Владивостока в Петропавловск, на нем, еще в пору моего детства, камчадалы добирались в отпуск на материк.

Этот огромный корабль с бесконечными коридорами, холлами, сверкающий зеркалами и позолотой, подавлял нас своей немыслимой роскошью и казался пришельцем из другого мира.

А теперь и этот корабль, и страна стали призраками, живущими в нашей памяти... Они живы, пока живы и мы, люди, родившиеся и выросшие в этой стране, в этом Вавилоне XX века...

Владимир ЛИМ

Горсть океана

Этого поселка уже нет на земле.

Имя его мелькнуло последний раз в отчетах Рыбпрома много лет назад. Мне запомнились эти прозрачные листки тонкой курительной бумаги с невнятными строчками текста, отпечатанного под копирку. Их внесла в кабинет курьер, и теперь я почему-то вспоминаю и ее, подрабатывавшую у нас пенсионерку, она тяжело дышала мне в затылок, когда я расписывался в потрепанном регистрационном журнале.

Уже тогда сведения о поселке умещались в одну строку:

п. Усть-Песчаный, жителей муж. пола – нет, жен. – один. В скобках от руки вписано: Дё, 61 год.

Дё умерла, дом ее снесла волна цунами. Об этом мне сообщил по радиации капитан Козырев, начальник пограничной заставы. Застава тоже пострадала, и ее теперь отстраивают заново.

Козырев, рассказывая, надолго замолкал, но я слышал его дыхание в черном улюлюкающем эфире, видел с какой-то жуткой, кренящейся синей выси, как над поселком безмолвно дыбится тридцатиметровая стеклянная дуга волны. Она растет, напрягается до звона, взрывается – щиты финского домика Дё крошатся в щепки, и щепки, вращаясь, вылетают из ревущей воды.

Картина повторялась раз за разом, будто отпечаталась в сетчатке глаз.

Название поселка еще можно найти на старых географических картах области, в графе «место рождения» моего паспорта и еще сотен других, родившихся в Усть-Песчаном.

Последний раз я видел Дё тринадцать лет назад, через неделю после того, как курьер принесла копию отчета.

Шторм задержал тогда теплоход в Октябрьском, и на заставу я попал не сразу.

Капитан Козырев, тогда еще лейтенант, был рад мне, потребовал анекдотов, новостей, накормил солдатскими щами.

Я любил Козырева за его душевную неутомимость. Не знаю, что его привлекало во мне, но он окружал меня такой плотной и неотступной заботой, что порою я как бы заболел, мне хотелось лечь и как можно дольше молчать.

Козырев потащил меня на реку, вооружившись двуручным спиннингом, и, пока он бросал легкую, похожую на бабочку, блесну, я прилег позади развалин железобетонного сооружения, оставшегося от некой японской акционерной компании, и стал смотреть на вышку – там время от времени что-то ослепительно взблескивало. Я поделился своим наблюдением, Козырев вдруг бросил удилище и, грозя кулаком, пошел к заставе.

Оказывается, это часовой, вместо того, чтобы осматривать в обзорную трубу скучную морскую поверхность, подглядывал за нами.

Мы поднялись на вышку, и, пока Козырев донимал нехорошими словами любопытствующего юношу, я смотрел в трубу на поселок.

Я увидел скелеты бараков, обглоданные ветром и дождями; завалившиеся заборы в паутине ислевших сетей; проросшие травой чердаки; острые звезды битого стекла.

Дом Дё стоял на берегу и был похож на старого человека, смотрящего из-под нахлобученной островерхой шляпы.

Козырев плюнул в океан, когда узнал о моем намерении ночевать в поселке – он настроился провести вечер со мной за шахматной доской и пивом, купленным в ресторане теплохода. Козырев долго отговаривал меня, соблазнял призывно расставленными шахматами, шуршащей пивной пеной, потом, осердившись, заявил, что уж если идти, то идти немедленно, до прилива, по накату, подхватил вещмешок, набитый макаронами и тушенкой для Дё, и нес его, провожая меня, километра три.

Козырев был родом с Волги, но не ценил этого, отпуска проводил на юге, тратя деньги и душу на баб.

Он тосковал о детях, семейной жизни и с неутолимимым пылом искал ту, кто поедет к нему на край света, но, должно быть, не там искал.

Он не знал тоски по отчому дому.

– А чего тосковать? – отговаривался Козырев. – Уж куда-куда, а к родному порогу вернуться можно всегда.

Первое мое воспоминание связано с уходом белух на Север. Они плыли перед закатом – стадо за стадом, взламывая розовую лакировку океана.

Вечер и полночи провожал их поселок, а потом сутки пил брагу – белухи увели весну, а это значило начало путины.

Еще я помню, как две штормовые ночи поселок жег костры на берегу, ветер раздувал их, пригибал к земле, отрывая и унося косматое пламя. Светлыми тоскующими тенями металась меж них будущие вдовы.

Когда океан выплюнул последний истерзанный кунгас, дома остались без дверей – все обратились в дым и свет зовущих костров.

Незванным гостем явилось горе, и нечем было прикрыться от него.

Погибло семь рыбаков, лучшая по всему Побережью бригада, среди них Тэн, муж Дё, и Тэко, их малолетний сын.

Два дня смеялась Дё, два дня односельчане собирали для нее финский домик, первый и последний в поселке, на третий люди вышли в белых одеждах, длинные белые флаги плескались над ними, гремели барабаны, взвился гудок...

Седым и белым был поселок. Потом, через много лет, я узнаю, что белый цвет у корейцев – цвет печали и траура.

Океан вернул Тэна через неделю. Тэн лежал у самой воды, поджав ноги к животу, будто спал, сжимая в руках детскую сандалию. Кудрявые волны играли тесемками кальсон над синим мрамором щиколоток.

А пятилетнего его сына так и не нашли. Может быть, Тэко съели нерпы, так говорили взрослые.

На поминки Тэко собрали всех детей поселка.

Я помню корейский барабан, похожий на песочные часы. Передо мной стояла крохотная рюмка из молодого бамбука. Пей, говорила мама, а я не хотел пить, думал, что умру от вина, но потом выпил, закрыл глаза и стал ждать смерти.

Дё убежала к океану, взрослые пошли за ней, и мне пришлось открыть глаза. Я вновь увидел барабан и с увлечением ударил в него рюмкой.

Барабан закричал, и я принялся колотить в него, радуясь продолжению жизни и печалюсь по белым флагам, под которыми не носят живых детей.

Дверь дома Дё была подперта от ветра плоским тяжелым камнем. Такими камнями прижимают рыбу в бочках с тузлуком.

Я отвязал пса, рвавшего цепь навстречу мне, и спустился к океану. Пес скулил и хватал меня за каблук.

Следы Дё, маленькие, с детскую ступню, шли вдоль прибойной полосы. Когда они приближались к воде и исчезали, я пугался, потом привык – следы неизменно выходили из океана, неровной строчкой пролегая меж влажных янтарных плетей морской капусты.

Волны катились длинно и косо, у берега они опадали, дыхание их было размеренным и легким.

Я разулся.

Теплый песок с сухим шелестом тек сквозь пальцы, им, чистым и тонким, можно наполнять часы, и он будет отсчитывать время вместе с волнами.

Пес крупными веселыми прыжками поскакал вдоль следов Дё, взрывая их мокрым носом, попал в миражную стену теплого воздуха, струящегося над берегом, вытянулся в зыбкую вислоухую тень.

Тень, колеблясь, оторвалась от земли, рядом возникла другая – с плывущими, как в воде, одеждами и огромной головой. Тени, прокладывая свой путь между небом и землей, поплыли ко мне с лаем и приглушенным ладонью женским криком:

– Тэ-е-ко-о...

Человек и собака вышли из миражной стены и спустились на землю. Тени их в поднебесье погасли.

Дё сняла корзину с водорослями с головы, поклонилась мне, прижав ладони к коленям, затем вошла в воду и, умоляя меня глазами, зачерпнула полную горсть. Я тоже набрал воды в ладони и пошел за ней.

На крыльце она встряхнула жгут, который подкладывала под корзину, он оказался старым цветастым платком. Де подвязала его вместо передника, отодвинула ногой камень, и мы вошли в дом.

Ставни были закрыты, Дё бесшумно пошла на плоский, как лезвие, луч, бивший сквозь щель, звякнула жестянкой, зажгла свечу.

Воду в горсти я расплескал, остатки ее высохли, и на ладони остался белый налет соли. Я подошел и опрокинул пустую горсть в протянутую мне жестянку.

Банку ей дал сезонник. Он был из тех приезжих, кто всегда ищет счастья на стороне, однажды вкусив отравы скитаний. Он вставал рано и потому иногда, в час утреннего тумана, заставлял Дё на берегу, она умоляла океан вернуть ей тело Тэко: малолетняя душа его приходит по ночам и стучится в ставни, просит не оставлять...

Сезонник дождался конца путины и начала праздника. Желая поразить всех, остановил Дё у клуба, преподнес ей консервную банку с пробитым ударом ножа дном, сказав, что, когда она наполнит этот сосуд океанской водой, растворившей дыхание и слезы Тэко, душа его перестанет мучить ее...

Матрос с кавасаки, гремя рыбацкой робой, поднял сезонника за ворот – ноги насмешника беспомощно повисли, спросил:

– Зачем ты это сделал?

Сезонник, покосившись на него, ответил:

– Пусть у этой женщины будет надежда...

Слова были красивы, но мне показалось, что приезжий складывал и готовил их в одиночестве как яд.

Я взобрался на крышу стайки, перевернул высохшую морскую капусту, она трещала, как фольга, разложил свежую – из корзины.

Дё привязывала пса – он хватал ее за пятки, косился на цепь и плакал.

Запах тяня, соевой приправы, шедший из раскрытых дверей, приторный, обволакивающий, перебивал свежий холодный запах водорослей.

Когда я шел с веревкой на плече за дровами, запах тяня, поселившийся во мне, кружил голову как крепкая сигарета.

У Дё было много дров – два десятка деревянных домов в щетине ржавых гвоздей, следах безжалостных мальчишечьих ножей, с оголенными, ребрами торчащими стропилами, вынутыми оконными рамами.

Вот здесь, на завалинках с сочащимся из щелей угольным шлаком играла азартная детвора в ножички, в перерывах сбивая кепками с теплых стен фиолетовых мух, жженой металлической стружкой сверкавших на солнце.

А теперь странен даже ленивый мушиный звон на солнечной стороне.

Запах хлеба, пота, одежды, радующий сердце запах человеческого жилья, выдули океанские ветры; молодые вихри посвистывали в руинах, кружили древесную труху, играли тленом, подхватывали, бросали в волны; из года в год вода и ветер творили свое весёлое дело, обжигали брошенные человеком жилища, засыпали песком.

Я сорвал с рухнувшей стены ставни, принялся выдирать доски со следами голубой краски, гвозди долго и мучительно стонали.

Я связал дрова веревкой, взвалил на спину. Вязанка оказалась тяжелой для меня, обратный путь был долгим, я преодолевал его согбенным, вытянув от напряжения шею.

Дё сидела на крыльце, поджав под себя ноги, и открывала обломком штыка консервы – это была тушеная говядина из офицерского пайка.

Дё потрясла банкой и сказала:

– Хороший люди русская солдата, япона гони из Корея, Тэко охраняй...

Доски кололись с сухим гитарным звоном. Я собрал дрова и отнес в дом. Подбрасывая обрубки в печь, я обнаружил на одном из них вырезанное «В», порылся и нашел остальные буквы. Сложил – получилось «ВОЛОД».

Некогда, в бессознательной тоске о вечности, я резал свое имя и на последней букве мама отобрала нож, шлепнув для отрезвления по заду. Потом у меня были другие ножи, я строгал сабли, пистолеты, портил нашу нехитрую самодельную мебель, покрывал бранными словами заборы своих врагов, но о букве «Я» почему-то так и не вспомнил.

Мы ели с Дё тушенку, подогретую на сковороде с морской капустой и тянем – странным с непривычки; грелись у печи, трещавшей голубыми ставнями моего детства. Я заглядывался на рыжую нежную шубку пламени, мне слышались звуки далеких вечеров, когда смуглые отблески огня выхватывали из темноты лицо матери, а стекла позванивали от глухих ударов волн о берег...

Я скоро привык к запаху тяня, но он еще тревожил меня воспоминаниями тех лет, когда я был ровесником Тэко.

Ночью, не знаю отчего, проснулся.

Вздрагивала длинная щель в ставнях, ворочался и шлепал в берег своими косматыми лапами океан.

Я скосил глаза на циновку у окна. Когда я укладывался спать, то видел, как светлели там ступни Дё. Теперь под окном никого не было.

Напрягся и услышал над головой приглушенное дыхание.

Из темноты ко мне тянулась ссохшимся корнем рука.

Я стиснул в кулаках край тонкого одеяла, вжался лопатками в ветхую, пахнущую трухой циновку.

Чужая ладонь гладила мою голову, волосы слабо шуршали.

– Тэко, Тэко, – сказала Дё и тихонько заплакала.

Плач ее был свистящим и долгим. Постукивая коленками, она отползла на свою циновку и замерла.

Я долго не мог уснуть, чувствовал мелкие раздражающие уколы циновки, зажег спичку, прикурил.

На стену громадной прозрачной тенью лег силуэт моей руки.

За низким выскобленным, поставленным торчком столиком, я увидел корейский барабан, смутный медный глазок блика на лакированном ободе. Барабан был похож на песочные часы, я перевернул его, песок, ударя о натянутую телячью кожу, посыпался с осенним травяным шорохом.

Я переворачивал и слушал эти часы до тех пор, пока не уснул.

Мне снился океан – то с детскую горсть, то безбрежный. Парили над ним часы, осыпали поселок песком, я играл ими, как на барабане, и Козырев, с сапогами в руках, плакал.

Проснулся от холода. Дверь была отворена, с порога, терзая цепь, на меня смотрел пес. Я отвязал его и спустился к океану. Все повторилось, невидимый круг замкнулся, и я стал оглядываться как затравленный. Пес хватал меня за каблуки. Дё выбежала из миражной стены с криком: «Тэ-е-ко-о...», сняла с головы корзину, поклонилась, прижимая ладони к коленям. Мы зачерпнули из океана, вернулись в дом и опрокинули горсти в банку, пробитую ножом.

Я опять не донес воду, расплескал ее, и на ладони остался белый налет соли. Ладонь жгло, ее я поранил, когда рубил ставни своего дома. Я уговаривал Дё уехать, а она не слушала меня и говорила о своем. Я прощался с ней, а она перебирала водоросли и говорила о своем. Я уходил, оглядывался на финский домик, первый и последний в моем поселке, домик смотрел в океан из-под осевшей крыши. Пес гремел цепью и, провожая меня, лаял вслед.

Теперь Дё уже нет. Пограничный наряд нашел ее у океана, головой к воде; волны играли ее волосами, как прибрежными водорослями.

– Я предвидел, – говорил Козырев, – я был еще как прав, когда предлагал отправить старуху в больницу!

Да, он был прав, но ведь все лечебницы мира не вместят женщин, страдающих безумием материнской любви.

Поселка моего нет уже на Земле. А мы, утратившие его, давно разбрелись по миру в поисках счастья. Но нет-нет, да настигнет меня память о заветном берегу, милой, в строгом платке прибоя родине, пробуждая кроткую нежную муку, каким-то непостижимым образом отдающую тихим жжением в ладони.

И тогда я вижу вислоухого пса, рвущего цепь навстречу тридцатиметровой волне.

Зеркало

*Внезапно хлопнет оконница
и мать позовет
пора возвращаться
Тадеуш Ружевич. Возвращение.*

Татьяна Васильевна остановила Вийку на улице и заговорила с ним.

Нужно было написать объявление о субботнике.

В том, что она попросила об этом именно его, не было ничего удивительного – он с детства увлекался каллиграфией, овладел многими шрифтами на разных языках, его часто приглашали писать лозунги, приветственные адреса, заполнять аттестаты зрелости, оформлять стенгазеты и надгробия. Но ее дружеский тон, теплый взгляд серых глаз поразил его. Так с ним не говорила ни одна женщина, к тому же такая образованная – Татьяна Васильевна закончила университет и преподавала в школе обществоведение.

Вийка радостно кивнул.

Только у меня нет ни красок, ни ватмана, – с улыбкой заметила Татьяна Васильевна.

Ничего! – так же радостно ответил на это Вийка.

Объявление получилось красивым, но на субботник по озеленению поселка пришли только ученики Татьяны Васильевны. В этом тоже не было ничего удивительного – в прошлом году она организовала в школе кружок защитников природы и всю путину караулила реку от браконьеров – в результате мало кому удалось запастись на зиму лососем – главной едой жителей Побережья. О кружке написали в районке, но с тех пор в поселке Татьяну Васильевну сторонятся. Да и кто она такая, чтобы объявлять субботник?

И все же Вийке стало обидно за нее – ведь она хотела посадить деревья, хотела добра; он вызвался съездить на моторке за тальником.

Деревья посадили перед школой.

С легкой руки местных остроловов Татьяну Васильевну стали звать «Зеленой», намекая то ли на ее молодость, то ли на политическую партию.

Деревья принялись, но простояли они в нежной робкой зелени только до первого шторма. К несчастью, районка поспешила известить о появлении в Песчаном сквера.

Весь поселок потешался над «зелеными», пытавшимися спасти деревья, промывая почву вокруг них пресной водой.

Горько переживал Вийка эту дружную и непонятную злобу своих земляков. Неужели они радовались тому, что их поселку никогда не быть осененным живой веселой тенью деревьев?

На День рыбака в клубе был вечер, и никто из парней не пригласил Татьяну Васильевну, хотя она была не хуже, а даже лучше многих девушек.

Вийка тоже не танцевал – от неумения, невольно наблюдал за ней, видел, как она поднимала лицо и подавалась всем телом навстречу, когда кто-нибудь из парней шел в ее сторону, как бы намереваясь пригласить.

На эту примитивную уловку она попала трижды и, сторонясь танцующих, вышла из клуба.

С этого вечера Вийка стал думать о Татьяне Васильевне неотступно – как о близком, не понятом другими человеке. Мысли о ней соединились с мыслями о матери. В год ее смерти ему было всего лишь четыре года, он мало что помнит из того времени, и, может быть, поэтому мать вдруг стала представляться ему такой же незащитной, как и Татьяна Васильевна.

Вийка ложился рано, чтобы в постели, отвернувшись к стене, воображать учительницу – ее лицо, глаза, губы, волосы...

Он засыпал в тоске, однажды заплакал во сне, пробудился от страха, что кто-нибудь услышит его всхлипы, вскочил в темноте.

В окне, в откинутых рамах, он увидел сумеречный вечер без звезд и синевы. Он загрустил, будто плакал наяву, почувствовал себя несчастным, и ему подумалось, что и она несчастлива.

Она страдает и, значит, может понять его, и потому не рассердится на любовь.

Вийка почти все чувства к женщине считал любовью: и жалость, и нежность, и благодарность.

Ему уже казалось, что и она думает о нем.

Он быстро оделся, но, по привычке, в рабочее, спохватился, рывком стянул рубашку, поцарапав лоб остатками присохшего к вороту бетонного раствора.

Он так спешил, будто она назначила ему свидание, а он опаздывал.

Вийка спустился к морю и пошел по накату. Он спешил и слушал свое дыхание, будто это было её дыхание, но когда он вышел к учительскому дому и увидел людей, уверенность в том, что она ждет, разом прошла.

Ему стало стыдно, так стыдно, словно он с кем-то говорил о том, что она ждет, а учительница сказала: «Я не звала, вас обманули...»

Он чуть было не побежал от людей, будто они были свидетелями его унижения, но остановил себя, с усилием подумав: да они ничего не знают.

Это были сезонники, они прошли, покосившись насмешливо. Вийка знал, что сезонники на всех местных смотрят насмешливо, но сейчас он испугался, ему показалось, что они догадываются, зачем он здесь.

Ну и пусть, сказал он себе, пусть думают, что хотят.

Он нарочно смотрел на прохожих, спешивших в клуб, и, если бы кто-нибудь в эту минуту вздумал посмеяться над ним, Вийка, пожалуй, ударил бы этого человека.

Два дома в Песчаном вызывали всегда в нем печальную зависть – дом молодых специалистов и дом учителей – там жили люди, достигшие того, чего хотел бы достичь и он.

Вийка всегда тянулся к этим людям и тайно любил их. Если они хорошо относились к нему, то он любил их еще больше, если они пытались унижить его, то ненавидел их. Но все они оставались для него чужими.

Теперь же было совсем не так.

Он смотрел на дом учителей не как на дом, в котором живут образованные люди, а как на дом, в котором живет она. Но она и жизнь ее были недоступны для него.

Ему было грустно смотреть на родное, для которого он был чужим. Он все яснее и яснее понимал: насколько она близка его душе, настолько он чужой для нее.

И он пошел мимо, пошел для того, чтобы навсегда проститься с надеждой.

В окне, прикрытом газетой, он увидел белый потолок, лампочку в брызгах белил и её. Она сидела за столом и писала.

На следующий день, утром, Вийка вновь подошел к ее дому, снова увидел учительницу в окне. Она улыбнулась.

Он простоял до тех пор, пока не встретил Подругу. Та хотела пройти мимо с равнодушным лицом, как делала это обычно, ему первое время это казалось странным, он долго не верил нежности Подруги, с которой та относилась к нему наедине. Но Вийка остановил ее и заговорил. Он не думал, плохо это для его любви к учительнице или хорошо, но ему хотелось, как никогда, чтобы Подруга выказала свою нежность здесь, на улице.

Он пошел с Подругой и не оглянулся, хотя ему очень хотелось оглянуться. Она ничего не могла понять, но он думал не о ней, а об учительнице.

Ей не будет больно, думал он об учительнице, ей не будет грустно, ведь я ей чужой, такой, как все.

Весь день он помнил улыбку учительницы. Вечером с бездумной радостью рассказал об этом Подруге – та дернула подбородком и ушла, сказав, что навсегда.

И на следующее утро, уже без прежнего стыда, он стоял под окном учительницы. Стекла были чисто вымыты, до блеска натерты зубным порошком, а бумажная занавеска заменена на ситцевую.

Он замер от предчувствия несчастья, мгновение спустя с тяжелым сердцем постучал в раму.

На крыльцо вышла девушка, Вийка ее не знал, и, ни о чем не спрашивая, сказала равнодушно:

Татьяна Васильевна уехала.

Горе, которое он ощутил потом, казалось ему не связанным с учительницей.

Все радости, наполнявшие его жизнь, радость ловких и сильных движений, радость летнего ветра, радость песен, вольной работы, радость осязания ладонями такого удобного черенка лопаты, с визгом отсекающей от железного листа только что замешанный бетонный раствор – все эти радости потеряли смысл. Вийка стал рассеян, его перевели трамбовать бетон в секциях. Он топтался наверху, на растущей стене морского укрепления, в раздуваемой ветром рубахе до тех пор, пока ему не кричали снизу:

Эй, обед!

Он повторял машинально «обед, обед...» и шел со всеми в столовую, напоминавшую своим сырым потолком баню.

Деревья засохли, Татьяна Васильевна уехала в район, но над Вийкой посмеивались, особенно старался бригадир Пинезин.

Полгода назад он напросился в гости к Вийке и, притворившись пьяным, остался ночевать. Утром, проснувшись по нужде, Вийка застал его у окна – приподняв занавеску, тот наблюдал за домом напротив: из-за приотворенной двери выглянул лысый крепкий кадровик и, придерживая просторные черные трусы на тощих бедрах, выпустил светлокосую женщину, она захватила белыми руками концы большого цыганского платка, падавшего с плеч, припала на мгновение к груди кадровика и тихо исчезла в тумане. Пинезин со стоном ткнул себе кулаком в зубы. Вийка, очнувшись, признал в женщине его жену – нормировщицу Фаину и вдруг, к ужасу своему, спросонья засмеялся. С тех пор Пинезин, не таясь, мстил ему за свой позор – то подбрасывал за тесное голенище вчерашний раствор, то отодвигал ящик, на который Вийка хотел присесть. Однажды, падая, Вийка сильно ударился затылком – его чуть не стошнило, но он, к дружному удивлению товарищей, только улыбнулся.

В тот же день в столовой бригадир подсунул ему вместо хлеба принесенный заранее деревянный брусок. Вийка понял это, когда поднес деревяшку к губам. Он хотел улыбнуться, но из очереди метнулась забытая Подруга,хватила брусок, швырнула в тарелку Пинезина и закричала:

– Ты, недоделанный, на ком хочешь отыгаться?

Вийка оглядѣлся посреди тишины и взглядов. Каким ничтожным показалось ему все это! Он встал и медленно, ощущая холод столовой, вышел на улицу.

Он дождался товарищей и, растроганный своим великодушием, протянул руку бригадиру. Пинезин отвернулся, заговорил с кем-то и пошел к морю. Вийка шагнул за ним с протянутой рукой и замер, остановленный Подругой.

– Ну ты и размазня, – сказала она, – так тебе и надо, понял?

Бедная разгневанная женщина, обвиняя своего дружка, и не подозревала, что его удерживает от самозащиты сознание своей непоправимой вины.

...Мама сидела на полу, поджав ноги, и вокруг нее лежал подол просторной юбки. Вийка, покачиваясь, ступил за ее край, и пол, пронзительно холодный, ответил ударом в ступню.

Вийка споткнулся, выкинул ручонку, хватая воздух растопыренными пальцами. Мать подхватила его и понесла к окну. Он засмеялся, потянулся ногами к подоконнику. Мать поняла его, и вот он стоит, ухватившись за веревку с висящими на ней вместо занавесок корейскими газетами.

Потом, когда Вийка, проснувшись, начинал плакать.

Мать ставила его на подоконник, и он принимался за работу: помня о маме, неумоимо тянул бечевку и рвал бумажные занавески.

Иногда Вийка начинал тосковать, плачем звал маму, она, вытирая руки о юбку, подходила к нему, обнимала и, покачиваясь, пела корейскую песню, и была эта песня цветной, и жили в ней девушка, ее старый отец с редкой бородкой, и весна, и плач этих бедных и красивых людей над рекой, среди цветущих слив, и богач, руками поддерживающий свой круглый живот...

Однажды Вийка, толкая перед собой табурет, придвинул его к окну, взобрался на него, потянулся к веревке с занавесками. Он напрягал шею, шевелил нетерпеливо пальцами, но достать не мог. Сел и заплакал, плача, вновь встал, подпрыгнул, ухватился за бечевку, она не выдержала и лопнула. Табурет качнулся, встал на две ножки, Вийка судорожно потянулся к окну, но равновесие было уже потеряно и подоконник, этот недостижимый теперь берег, метнулся сначала в сторону, потом вверх.

В мгновение короткого страха, вызванного неотвратимостью падения, Вийка подумал «мама», подумал не словом – картиной, он как бы увидел мать бегущей к нему с протянутыми руками и с рождающимся в ней рыданием боли за него, все это возникло перед ним, вместились, непонятно как, в сферах глаз, прикрытых тонкими вздрагивающими веками; он успокоился, привычно ожидая ее рук, которые выхватят его из падения; он уже знал боль, но верил еще в руки матери, он постоянно ощущал их, и ему казалось, что ими наполнен весь дом.

Вийка упал на пол и несказанно этому удивился. Он открыл глаза и увидел мать, она бежала, протянув руки, с рождающимся в ней рыданием боли за него, подол ее длинной юбки взлетал над пятками.

Она была в начале пути к нему.

Его не поразило, да и не могло поразить тогда совпадение, он, лежа в ее руках, раздумывал: заплакать или нет?

Но сейчас, в ночи, растревоженный словами Подруги у столовой, он переживал это воспоминание о матери. Вызывая новые подробности и откликаясь на них благодарно, он как бы становился тем, маленьким, и ясно, до холода в затылке, чувствовал касания рук матери, ее губ, тяжелого дыхания.

Он оглядывался в ночи, смотрел недоуменно в темноту, все в доме, казалось, помнило о маме, вещи, казалось, были расположены иначе, в той особенной закономерности, которая отвечала представлению матери о порядке...

Вийка ощущал себя как продолжение матери, ее плоти и, думая так, раздвигал мир, наполненный связями; ему брезжился бесконечный путь к истокам, открывался сокровенный смысл родственных чувств, ощущаемых им в горе так потрясенно.

Пришло утро, но оно ничего не изменило, холодный свет этого утра пронизывал его, как будто он был бесплотной тенью, и перемещение в нем отзывалось печалью.

Вийка спустил ноги с постели и услышал шаги матери на кухне. Он подошел к окну, потрогал занавески, прижал ладони к холодному подоконнику и услышал ее песню.

Он отпрянул, зацепил локтем ветку китайской розы, она хрустнула, удерживая равновесие, он покачался на пятках и посмотрел через плечо. Ветка висела на тонкой кожице, как сломанная косточка. Вийка протянул руку и ногтем отщипнул кору.

Откусывая наискосок ножницами кончик ветки, он увидел пальцы матери, обламывающие пожелтевший листок.

В это утро все касания вызывали вспышки воспоминаний. Они были яркие и создавали иллюзию ощущений: запаха, цвета, звука. Они были почти материальны, возникнув, казалось, застывали, и их можно было переставлять, трогать, рассматривать как объемные фотографии. Вийка, замороженный, сел под розой. Он чувствовал себя маленьким, пятилетним; поджал под себя ноги и, закрыв глаза, раскачивался тихо.

В этот день Вийка впервые не пошел на работу. В этот день вернулась мать.

В детстве его мучила нежность к ней. Ему хотелось трогать ее лицо, руки, одежду. Он подходил к ней и прижимался виском к бедру, оно было твердым, теплым. Мама всюду натаскалась на Вийку, он провожал ее до порога, стоял у двери, помня пальцами выскользнувшую материю миткалевой юбки, садился на порог и, слушая улицу, ждал.

Иногда его увлекали игры, он забывал о маме, но когда она возвращалась и напоминала о себе шагами на крыльце, он как бы вновь обретал ее, летел к ней и с размаху бросался ей в колени.

Устав от игр, Вийка брал веник и нес маме, она касалась пальцами его затылка и возвращала веник на место. Вийка, желая ласки, брал веник и вновь протягивал матери. Она оборачивалась, и он наклонял голову, подставляя затылок. Однажды ожидание ласки было долгим, Вийка шевельнулся, поднял лицо и наткнулся на ее взгляд. Глаза матери были тяжелы и не видели его. Он позвал ее. Она присела перед ним, обняла и сказала: «Сыночек мой, тебя каждый обманет».

Ветку китайской розы мама принесла в банке. Розу поставили на подоконник, к свету, и Вийка тосковал по окну, за которым жили берег, море и солнце.

Роза росла быстрее Вийки, через несколько лет она превратилась в небольшое деревце, ее пересадили в кадку. Роза занимала окно и угол комнаты.

Вийка любил солнечные желтые дни, они с мамой выносили кадку на крыльцо, и мама, набрав воды в рот, брызгала на розу, капли били в листья, и этот необычный шум радостно тревожил Вийку.

Прохожие просили у мамы черенки, мать не отказывала, но, когда она щелкала лезвиями портняжных ножниц, Вийка видел, как вздрагивали ее черные зрачки. Роза ни у кого не приживалась, и Вийка решил, что люди не поняли советов матери о живой земле для черенков.

Но потом Вийка узнал, что люди просто ленились ходить за реку, за двенадцать километров, за почвой. Им было приятно просить черенки, приятно расспрашивать дорогу, у некоторых глаза играли тонкими влажными бликами. Но все это было нахлынувшим, минутным, желание добра и цветов было праздником, а праздники не длятся долго.

Время от времени среди листьев розы появлялся желтый, он был прозрачен, как пергамент. Если листок погибал внутри куста, то казалось, что в розе стоял луч вечернего солнца. Листок осторожно снимала мать, он еще долго потом лежал на подоконнике, похожий на ладонь маленького волшебного человечка.

Однажды Вийка решил снять увядший листок сам. Листок был на самой верхушке, свернувшийся, похожий на желтый детский парус. Вийка обрадовался, он решил помочь маме и заслужить ласку. Он встал на табурет и потянулся за листком, ухватил за черенок и потянул вниз.

Лист оторвался, Вийка потерял равновесие и упал на розу. Падая, он сломал ветку, поранил ладонь; из нее сочилась кровь, он слизывал ее языком и измазал нос и губы. Капли крови набухали быстро, они срывались с ладони, скользили по листьям ветки и разбивались о выскобленный пол.

Вийка испугался, отбросил ветку. Он проследил ее путь до желтых половиц и увидел пятна крови. Вийка поднял ветку, сжал ее в раненой ладони, прикрыл кровь на полу веником,

обувью, потом выбежал на улицу, разбил ногой корочку песка под окном и принялся засыпать ветку.

Голос отца бросил Вийку на землю. Вийка скосил глаза и увидел литые резиновые сапоги в чешуе. Сапоги нагрелись от ходьбы на солнце, пахли, тепло и горько, когда отец разрывал ими ветку. Песчаная пыль оседала на зрачки.

Вийка заплакал. Отец отослал его домой, ткнув легонько указательным пальцем меж лопаток, а сам сел на крыльцо.

Вийка, прижавшись щекой к порогу, плакал. Дверь резко распахнулась, так резко, что занавески метнулись за ней в коридор, мать переступила через сына и, касаясь розы, сказала: «Ай-я-яй...» Вийка опять заплакал, но не от слов матери, он помнил прикосновение юбки к лицу, ноги матери с желтыми твердыми пятками, перешагнувшие через него, как через порог.

Мать подняла его с пола.

«Что он сделал с тобой? Что он сделал с тобой?» – закричала она, увидев кровь на его лице, и выбежала на улицу.

«Изверг, изверг вы...» – сказала мама.

Отец пожал плечами, продолжая бить веткой о сапог.

Мать вернулась в дом, одела Вийку, схватила за руку и выбежала на крыльцо.

«Куда?» – отец встал и развел руки, будто ловил цыплят. «Куда?» – повторил он грозно.

Мать закрыла лицо ладонями, согнулась, кланяясь, и завывала тонко, жалобно:

«Поиздевались, теперь отпустите, больше не могу...»

«Иди домой!» – отец оглянулся, на них смотрели соседи.

«Пустите, я не хочу, пусть ваши проститутки вас...»

«Домой!» – взревел отец, больно хватая ее за плечо.

Мать выпрямилась, опустила руки, пошевелила губами, собирая слюну, и плюнула отцу в лицо.

Отец оглянулся, прищурил свои тонкие птичьи веки, ударил мать, крикнув, будто рубил дрова, и ушел в дом. Мать упала с крыльца, ударилась о землю спиной, встала и сказала короткое лающее слово, смысл которого Вийка не знал, но он запомнил его и в день похорон матери спросил у корейцев. Это слово означало «предатель».

Это слово означало «предатель», вспоминал Вийка, сидя под розой, и слышал голоса товарищей под окном. Он встал у стены и, оперевшись о подоконник, осторожно выглянул из-за занавески.

Товарищи уговаривали Пинезина проведать Вийку, бригадир несколько раз сказал: «Нет». Потом, взмахнув кистями рук от себя, проговорил: «Кыш, кыш на работу!»

Они ушли.

Вийка оделся и пошел к укреплениям, залил с товарищами очередную секцию бетоном, но мыть руки с ними в море не стал – перебросил куртку через плечо и направился прочь.

– Я тебе прогул поставил! – крикнул Пинезин.

Вийка прибавил шаг, вдохновляемый пинезинским «кыш на работу», и шептал себе в такт: «А иди ты, а иди ты...»

Он остановился далеко за поселком, там, где берег косыми дюнами уходил в море. Ветер сочился от далеких гор, через тундру, реку, огибал спину косы и струился к горизонту. Вийка обходил дюну за дюной, ноги сами убыстряли шаги, подгоняли друг друга, несли неумоимо, дыхание по-прежнему было легким, а сердце билось неслышно. Вийка не ощущал сердца, словно его не было.

Он шел, не помня себя, своей жизни, увлеченный ходьбой, движимый неясным желанием, но за поворотом открывалось такое же лукоморье – пустынное и обещающее.

Вийка знал, что на много километров по Побережью его ждет все то же одиночество, но надежда, невеста откуда взявшаяся, шальная надежда гнала его, толкая в спину своей неласковой рукой.

Он испытывал судьбу, просил у нее то, чего она не могла дать. Нет на земле, ни за каким поворотом места, где обитают умершие.

Вийка повернул к дому, навстречу своим следам.

И вновь принялся обманывать себя.

Теперь ему казалось, что он спешил тогда, плохо смотрел вокруг и, быть может, прошел тот поворот, за которым открылся бы ему город прошлого. Смеясь над собой, он осматривал ямы в надежде на ручку люка или дверцу, укрывающих путь под дюны.

Он убеждал себя в том, что решил позабавиться и затеял старую детскую игру, но, когда вход в пещеру, открываемый надеждой и воображением, оказывался плоской тенью, озираясь, словно обманутый товарищами.

«Ха-ха», – говорил он себе, и спина его стыла от такого смеха.

Путь к дому пройден, уже поселковые собаки заметили его, встали и, узнав издали, весело лаяли. Вийка оглянулся, сейнер шел с моря, два пограничника брели по спине косы. Вийка, стоя на берегу, смотрел на них снизу, над плечами солдат коротко торчали стволы автоматов.

Вийка подумал о том, что увидит и других людей, если будет стоять здесь еще, но не увидит уже тех, кто прошел раньше. А если бы у него не было Подруги, то, может быть, учительница бы не уехала...

Вийка потянул эту цепочку – она была бесконечна.

Он почувствовал зависимость от всех, кто жил вокруг, подумал о событиях, над которыми был властен, и о других, властных над ним, и о третьих, складывавшихся в огромное, не зависимое от него течение жизни людей, которых он не знал и никогда не узнает...

Он был в растерянности, он поразился своему безумию: ведь каждое движение сейчас и раньше откликается и откликалось в будущем, строило или ломало его счастье.

Он не знал, идти или стоять, не знал, как отзовется этот шаг, может быть, его надо было сделать десять минут назад? Может быть, он уже давно опаздывает? И что-то главное в его жизни, как чаша, начало свое падение, и он, протягивая руки, хватает только воздух? И потому не остановил руку матери с мертвой водой, и настал день, в который мать, судорожно обрывая бумажные занавески, сползла на пол и голова ее ударилась о гулкие половицы... И не открылся путь под дюны, и захлопнулась дверь в город прошлого.

Вийка увидел ветку китайской розы, тонкую кожицу, на которой она покачивалась, и матовый влажный ее стебель, торчащий из-под коры обломком косточки. Увидел ясно, до подробностей, до беззащитной пленки камбия, до желания потрогать. И рука, сопротивляясь этому желанию, дернулась.

Вийка, томимый предчувствием, подчиняясь ему, устремился к дому.

Дернул дверь на себя, занавески бросились ему в лицо. Прорвался сквозь них и кругами обошел комнату. Ветки нигде не было. Опустился на четвереньки, стуча коленками, обыскал пол.

Ветки не было.

Сел на порог и восстановил утро.

Помнил ветку, летящую к полу, дрожание листьев, удар обломанным концом о половицы.

Вспоминая, переживал ее полет вниз, как падение раненой птицы.

Осмотрел сени, вышел на крыльцо. Сосед, кадровик, зажег в доме свет, окна перестали быть зеркальными, и можно было заглянуть в них.

Кадровик сидел за столом, поднял над головой кусок мяса и, улыбаясь, отпустил. Послышался приглушенный лай. Кадровик посмотрел в окно, пошевелил бровями, вышел на улицу,

держа собаку на поводке, и закрыл ставни; собака, оглядываясь, показывала быстрый яркий язык.

Вийка вспомнил о ветке и вернулся в дом. Включил свет. Комната стала желтой.

Ветка стояла в банке на подоконнике. Вийка отпрянул, упал за порог, тотчас же вскочил и подошел к окну.

Ветка стояла косо. Вийка тронул ее, пузырьки воздуха, оторвавшись от стенок банки, всплыли. Листья были с глянцевитыми подушечками меж прожилок. «Значит, – подумал он, – ветка давно в воде, листья успели набрать сок...»

Хотелось оглянуться. Он почувствовал чье-то присутствие. В дом могли зайти отец или Подруга, но отец никогда бы не поднял ветку с пола, а Подруга никогда бы не поставила банку в угол, всегда ставит цветы в центре подоконника.

Прежде Вийку радовали следы ее присутствия в доме. Он входил и видел с порога, что она была здесь, что вещи стали похожими на нее.

Его всегда волновал порядок, наведенный в доме Подругой. Достаточно было увидеть вмятину на покрывале, чтобы представить ее сидящей на кровати с подложенными под колени ладонями. Вещи после ее ухода были ласковы и веселы, он иногда часами не испытывал среди них одиночества.

Если приходила вдруг мачеха и наводила к тому же порядок, то вещи угнетали его. Он наткался на них, ушибался. Они мучили его своими бессмысленными связями – от подушек, накрытых тюлем, до плотно задвинутых занавесок. Вийке всегда хотелось разрушить этот порядок, порядок, предназначенный только для любования, склочный в своей хвастливости порядок.

Включив свет, Вийка не заметил вещей, они не бросились ему в глаза, кроме банки с веткой. Так поставить ее могла только мать.

Он резко обернулся. Несколько силуэтов бросилось поочередно навстречу, заставляя вздрагивать. Это был плащ с кепкой на гвозде, тень этажерки на стене и его собственное отражение в зеркале старого шкафа.

Вийка подошел к шкафу, боясь своих напряженных глаз. Осознав этот страх, принялся, холодея, корчить рожи. Глаза из зеркала держали цепко, за ними открывалась комната со слепыми окнами.

Ему показалось, что за спиной пустота, провал, который начинается под его сбитыми каблуками, открывая звезды и неслышные ветры.

Все, что было позади, оказалось перед ним, в зеркале. Не было пути назад.

Вийка взбунтовался против ночного сумасшествия. Он начал шаг назад, зажмурил глаза, ожидая все же бесконечного полета. Сапог коснулся пола, Вийка резко повернулся – перед ним была та же комната, и в ней он не встретил своих тяжелых глаз.

Сел за стол, но почувствовал пристальный взгляд в затылок. Он ощущал взгляд, как касание остуженной льдом ладони. Ощущение было физическим, и он, защищая глаза рукой, оглянулся.

Зеркало смотрело на него. Вийка встал и накрыл зеркало полотенцем.

Вид занавешенного зеркала поразил Вийку, за полотенцем ощущалась жизнь. Зеркало было похоже на женщину, спрятавшую лицо под вуалью. Черты размыты, но угадывается взгляд пристальных глаз с влажным блеском. Там, за полотенцем, была жизнь.

Он вспомнил, что в день, когда смерть отметила его дом, зеркало было открыто. Оно все видело. Видело. И его рождение, и шаги к окну, и день, в который мать умерла от мертвой воды. Накрытое полотенцем, оно было многозначительно, Вийка ощущал зеркало как живое и опасное существо. Он сорвал полотенце и отшатнулся, он забыл о том, что может увидеть там себя.

Вийка оторвал планки, они ломались с резким сухим треском там, где были гвозди. Зеркало с обратной стороны было выкрашено черной краской. Плоское и беззащитное теперь, оно стало лишь хрупкой вещью.

Вийка прислонил зеркало к стене, ладони были потными, и он почувствовал ими сквозняк, круживший над полом. Дверь была приоткрыта, и края занавесок над порогом колебались.

Вийка замер, потом, пятясь, сел на табурет. Было очень тихо, даже море молчало.

Он просидел так долго; устав от ожидания и неизвестности, неслышно подошел к двери.

За занавесками, давясь дыханием, стоял кто-то. Вийка с судорожным криком отбросил материю.

Боком к нему, выставив ухо, стоял человек. Человек дернулся всем телом и, застонав придушенно, бросился на него. Вийка отпрянул и узнал Пинезина. Тот схватил его за рукав, закричал:

– Ты чё, узкоглазый!

Вийка молча вырвал руку.

Пинезин неприятно усмехнулся и ушел, хлопая небрежно подвернутыми голенищами резиновых сапог.

Вийка уснул в одежде и от этого быстро пробудился.

Угол с розой был светлее обычного.

По краям листьев просвечивала желтизна, она делала их прозрачными. Середка листьев оставалась еще живой, зеленой.

Желтизна как бы освещала куст. Вийка вылил в кадку ковш воды и увидел на полу два совершенно желтых листка. Он замер – приметы увядания напомнили ему вчерашнее. Вернулось ощущение зависимости от всего, что было вокруг.

Он осмотрел комнату, и ему показалось, что все находится в ужасающем беспорядке.

Он схватил тряпку и вымыл пол с мылом. Пол стал свежим, чистым, но ощущение беспорядка не проходило, а, наоборот, усилилось. Вийка не мог больше оставаться дома. Он взял опавшие листья и вышел на крыльцо. Кадровик, прогуливавший собаку, кивнул неуверенно, сомневаясь, что юноша, глядя в лицо, видит его, затем наклонился к собаке и обхватил ее шею ремешком.

Вийка быстро расковырял песок, сложил листья в ямку и так же стремительно, одним движением присыпал. Оглянувшись, поймал взгляд кадровика.

Вийка спешил на работу и в пути тревожился: не разгадал ли сосед в его движениях детский обряд похорон?

На следующее утро Вийка увидел в центре куста медный лист. Он еще никогда не видел такого. Листья на нижних ветках стали лимонными, вялыми и опадали от легкого прикосновения.

И опять он мучился бессилием, так бывало во сне, когда в дверь ломились, надо было защищать дом, а ноги не слушались: уже видны щели в двери, выдавливаются гвозди из досок, а ноги еще учатся ходить, не слушаются... и только руки тянутся, мечутся...

Зеркало, вынутое из шкафа, стол, придвинутый к стене, табуреты под ним раздражали его, заставляли менять привычные пути в доме, беспорядок был невыносим.

Он вернул вещи на место и обнаружил странное обстоятельство – если он становился спиной к розе и оглядывал комнату, ощущение беспорядка исчезало.

Вийка понял – это роза нарушила порядок в доме, она умирает.

Он оглядел комнату, все вещи были на месте, все в доме было как много лет назад, когда роза поселилась у них, а мама пела свои песни, и вдруг заметил лишние скатерть и тряпичные занавески. Убрал их. Нужны газеты.

Полез в шкаф и наткнулся среди поношенных одежд на альбом, раскрыл осторожно, боясь встретить снимки похорон, помнил их, блеклые, волнисто остриженные копии того дня.

Трусливо поднимал очередной плотный лист, ожидая... но возникали другие, принося облегчение.

Среди фотографий нашел снимок матери. Она стояла меж женщин в длинных белых платьях, в косом ступенчатом строю, перед ними, на корточках, – мужчины и кепки на песке у ног, как свернувшиеся щенки...

Он вглядывался в лицо матери, оно было молодым, сдержанным, как и у подруг, но что-то выделяло ее среди них, и он никак не мог понять, что же. Это стало мучить, провел по фотографии ладонью, как по запотевшему стеклу. Знал, что ее отличает не то, что она была ему матерью, носила его в себе, хотя ощущал и это.

Другое, совсем другое тревожило в ней, ночное, звездное, летнее, непонятным образом связанное с сегодняшним, со сломанной веткой, желтыми листьями, с домом, из которого давно выветрились ее запахи, и чужая женщина вынесла ее одежды. Тревожило и пугало.

Теперь его пугали и фотографии матери, как и снимки похорон. Вспомнив о них, понял: мать выделяла среди других смерть.

Взгляд матери был сдержан, как и у подруг, но Вийка видел в ее глазах предчувствие и даже тайное знание всего о нем, своем сыне, и его будущей жизни.

Он отшатнулся от альбома, сжал веки, но продолжал видеть лицо матери, отмеченное покоем.

...Мать сказала короткое лающее слово, сжала Вийке раненую ладонь и повела его стынувшей вечерней улицей прочь от дома.

Он скоро устал, вторую половину пути бежал почти в бесспамятстве, закрыв глаза, ощущая лишь руку матери, тянувшую его.

Пришли на третью базу и остановились возле дома Дё. Она сидела на крыльце в галошах на босу ногу и курила. Мать сказала, что ушла из дому, сказала так, будто Дё должна обрадоваться ее словам. Вийка уже оседал в песок, звуки казались огромными мягкими шарами. Дё подняла его, внесла в дом и уложила на циновку. Мать безвольно шла следом, остановилась, когда Дё открывала дверь ногой, наклонилась, когда та укладывала Вийку.

Дё стала готовить моллюсков.

Мать тоже взяла ракушку, но Дё запретила ей. Мать села за низкий столик и, глядя слепо в спину подруги, трогала чашечки для риса, стальные палочки.

Дё под села к ней, сняла платок, вытерла им вспотевшее от печного жара лицо и разложила самодельные цветочные карты. Мать жаловалась, снимая слезы со щеки:

«И разве вы не помните, сестра, как в сорок восьмом, когда наши возвращались на Родину, он проиграл в карты все деньги и я не смогла уехать? А в пятьдесят третьем, когда американцы убили дорогого батюшку и братца? Матушка осталась одна, и разве он не выкрал у меня документы, и не получил на меня советский паспорт, чтобы я не уехала и не увезла сына? А теперь у него шашни с нормировщицей, мы ему не нужны... Остались без Родины, матушка меня, предательницу, давно уж прокляла...»

Дё закричала, размахивая в сумерках красным глазком папиросы: «Эй, сестрица, подумай, что говоришь! Разве здесь плохо? Ты вспомни-ка, как с пяти лет спину гнула на чужих дворах? Как японцы по-своему говорить заставляли, как ленты с платья срезали? Как вспомню – ничего не хочу... Наша Родина там, где дети...»

«Там теперь другая власть...»

«Ой, не знаю, не была, не видела...»

Вийка застонал, засыпая, мать склонилась к нему, расстегнула ворот, высвободила неловко поджатую руку. Кулачок распустился, и мать увидела черную и прямую, как натянутая бечевка, царапину. Она сразу же поняла, почему лицо сына было измазано кровью, но ничто не могло поколебать ее в обиде, так велика и непоправима была эта долгая обида.

Мать заплакала молча, она тревожилась о сыне; она легла рядом с ним, баюкая его руку и лаская сердцем.

Вийку разбудил запах моря, его принес Тэн, муж Дё, самый большой человек в поселке. Тэн перегнулся через Вийку, укладывая своего сына, Тэко, которого всегда брал с собой на лов.

Дё мыла рис, а мама топила печь. Вийка встал и подошел к ней. Он обнимал ее за бедро и озирался на Тэна. Тэн засмеялся, сел на циновку, снял сапоги, продолжая смеяться, потянулся к портянкам... руки его замерли, потом поползли назад – Тэн упал на спину, Вийка подумал, что он умер, но через секунду услышал его храп.

Тэн дернулся, вскочил, засмеялся, лег опять, раскинул ноги и уснул.

Мать взяла Вийку на руки и понесла домой. Она шла вдоль косы к Песчаному по грудь в тумане, как в облаках. Туман был таким густым, что она не видела земли и своих ног.

Сын, подрагивая ресницами, спал.

В Песчаном она встала за углом своего дома, подождала, когда муж уйдет на работу, и вбежала в комнату. Она положила сына на кровать, разула и накрыла своим платком.

Через полчаса сын вспотел, мать видела, как росли капельки пота на тонкой, с голубыми тенями вен, коже лба. Она подула ему в лицо, осторожно, чтобы не коснуться дыханием чутких век, и сидела на корточках перед сыном, ровными и бережными выдохами гася жар его сна до тех пор, пока туман за окном не порозовел.

Солнце взошло, и время матери истекло. Она открыла стол, достала трехгранную бутылочку, вылила жидкость в стакан и поднесла ко рту. Сморщилась, резко откинула голову, будто ее ударили в лицо.

Сын спал, но вот он поднял и опустил веки, показал белки, это осталось у него еще с младенчества, и она знала, что он скоро проснется.

Мать налила в медный тазик воды, умылась, выплеснула воду прямо с крыльца, переоделась в белое свадебное корейское платье с длинными лентами на груди. В платье было холодно, и она накинула зеленую кофту.

Вийка открыл глаза, встал на четвереньки и увидел мать в зеленой кофте у окна. Мать надевала ее только по праздникам, после того, как напекала большую чашку печенья.

Вийка вскочил и, смеясь, стал прыгать на кровати.

Мать пила большими рыдающими глотками, выронила стакан, схватилась за занавески, рванула на себя и упала на пол.

Она хватала ртом воздух, и глаза ее, перекошенные, страшные, смотрели на Вийку.

Мать дернулась, ее скрутило резко – она ударилась лбом о колени и сказала бессильно, тихо: «Сыночек...» Вийка слезал с кровати, нащупывал пол ногой.

«О-о-о...» – закричал вдруг кто-то в доме. Вийка шлепнулся, и, подгоняемый воплем, пополз к порогу, скатился с крыльца и в страхе побежал вдоль улицы.

Плача, он бежал до тех пор, пока не забыл о страхе. Он увидел себя в одиночестве, среди высоких собак, вспомнил о матери и побежал назад, чтобы укрыться в ее коленях.

Он вошел в раскрытые двери, ступил на пол, истоптанный людьми. Никогда еще не было так много людей в их доме. Они держали маму за руки и ноги, а отец разжимал ей зубы и лил молоко в рот. Она не хотела молока, она выплевывала его прямо в лицо отцу. Вийка сидел под розой и смотрел. В комнате дул ветер, Вийка дрожал, но ему было интересно, ведь он никогда не видел, как играют взрослые.

Потом маму понесли из комнаты, отец говорил ей: «Выпей молока, ну, выпей...»

И вот что запомнил Вийка: мать вдруг протянула отцу руку.

Став взрослым, Вийка никак не мог понять этого, но вспоминая, он чувствовал себя несчастливым и одновременно... счастливым, плакал и смеялся.

Вийка остался один в доме и был рад этому. В поисках печенья полез под стол, чашка была пуста. Сильно болела голова, он забрался на кровать и закрыл глаза, ожидая маму. В полу-

сне увидел небо, но не темное, с остриями игл, а горящее в глубине, воспаленное, увидел себя в нем, тело свое.

Так началась его первая болезнь, первая из тех, которые он помнил, особенно терзавшая его по ночам температурой и бредом, все ощущения почему-то сосредоточивались в глазах, словно он переселялся в их заплаканные сферы, лишенный возможности управлять своим телом, мучимый слабостью и бессилием, как юноша, впервые осознавший беспредельность мира, или старик, осознавший жизнь как некое течение, увлекающее его к неотвратимым вратам смерти.

Фельдшерица рыбокомбината определила простуду и лечила от воспаления легких. Отец стал суеверным, как становятся суеверными в беде многие слабые люди, верил всем: и фельдшерице, и знахаркам, говорившим, что это покойница, покинув мир путем, неугодным богу и природе, терзает сына своей тоской.

Отец, по их советам, прятал под подушку сына ножи, топор. Эти предметы до самой юности тревожили Вийку каким-то еще одним, тайным, скрытым от всех назначением.

...Вийка отшатнулся от альбома. Все в доме вызывало у него теперь страх.

Он осмотрел комнаты, пристально, напряженно, пытаясь найти и объяснить причину этого страха. Ведь это был его дом. Родной. Как же получилось, что именно родное вызывает в нем страх? Почему самый сильный страх вызывает все связанное с матерью, давшей ему жизнь и жизнь которой он продолжает?

Себя испугался в зеркале... нет, не себя – того, за кого себя принял. Но, узнав, продолжал бояться глаз своих, они следили из зеркала... Ведь это и мамины глаза...

Вийка вновь посмотрел на снимок матери. Лицо ее и глаза пугали больше всего. Пугает живой взгляд умершего человека. Это открытие почему-то обрадовало его.

Она смотрит оттуда... не одна смотрит, ее глазами смотрят и те, кто был до нее, все они и в моих глазах, это и пугает...

Захотелось поскорее выйти из дома, и он вышел, не замечая того, что выходит.

Ему было холодно от таких мыслей, их несомненность, правота подтверждались холодом в крови.

Он засмеялся, услышав свой смех, очнулся и увидел себя на берегу моря.

Страшен был его смех в страхе. «Я не... сойду с ума?» – и эта мысль отозвалась холодом.

«Это теперь страшно, – понял он с неожиданной ясностью, – а до этого мне было стыдно. Не страх вызывал родной дом и мама, а стыд».

– Стыд, стыд, стыд, – сказал, уже вслух Вийка, с ожесточением, машинально раздеваясь. Он вспомнил, как, стыдясь, прятал от одноклассников корейские газеты, шумел, чтобы ребята не услышали в доме корейской речи. Это было нелепо, отвратительно и бессмысленно, ведь друзья знали, что он кореец... И знали, понял он вдруг, что он стыдится этого, иначе зачем было им бросаться в драку на всякого, кто осмеливался дразнить его...

«Я хуже, чем отец. Ему все равно где жить, лишь бы жить хорошо, но он никогда не стыдился себя. Нет ничего хуже, чем устыдиться своего рода. И род наказал меня. Все, кто был до меня, до самого первого человека моего рода, знают обо мне все. И мне стыдно».

Вода была холодной, Вийка почувствовал ступнями скользкую тину галечника. Сделал шаг и погрузился в море по пояс, потом сразу до подбородка.

У самого дна вода была еще холоднее, Вийка передернул плечами, непроизвольно вздохнул. Хотел сделать еще шаг, но не мог нащупать ногой земли – дно круто уходило вниз. Тело качнулось вперед, Вийка инстинктивно заработал руками и восстановил равновесие. Он стоял так долго, не решаясь броситься в глубину. Подумал, что его, мертвого, могут съесть нерпы, и он останется в море навсегда, кровь, плоть его будут вечно скитаться по океану, переходя

от одной нерпы к другой. Ему стало жаль себя. Слезы помогли броситься в глубину. Он поплыл вниз, быстро достиг дна и открыл глаза.

В воде было светло, холодно, он увидел солнце, оно качалось, растекалось серебристо-зелеными бликами. Вода выталкивала. Чтобы удержаться у дна, приходилось работать ногами.

Нужно открыть рот и вдохнуть, впустить воду. Он открыл, набрал воды, но вдохнуть не решился. Воздух в легких кончился, пришлось вынырнуть. Он вдохнул и вновь нырнул, осторожно потянул в себя воду.

Перехватило горло, легкие раздирали от сдерживаемого кашля, он сжал губы ладонями и свернулся там, на дне, в клубок, вздрагивая всем телом, и ему стало страшно, что он не сумеет подавить кашель и захлебнется. Из последних сил рванулся, ринулся наверх. Путь этот, показалось ему, был страшно долог.

Вдохнул воздух, сотрясаясь от кашля, устремился к берегу.

Долго лежал на теплом песке, время от времени кашляя резко, со всхлипом, от щекочущей боли в легких разболелась голова, затошнило. Он брел домой и отплевывался.

Дома к нему вернулся стыд, он вспомнил, как передразнивал походку Дё, вспомнил многое другое и вновь был противен сам себе.

Вийка нашел веревку и привязал ее к крюку, который отец вбил по примеру русских, чтобы подвешивать корзину, заменявшую люльку.

Привязывая веревку, Вийка поймал себя на том, что крюк ему страшен.

Долго возился с петлей, не мог сообразить, как ее сделать скользящей, и ни на секунду не забывал о том, что не должен касаться крюка, а почему не должен – не знал.

Соорудив петлю, спрыгнул с табурета и посмотрел на свою работу снизу. Вид крюка с петлей из новой жесткой веревки был жуток. Вийка поскорее вскочил на табурет и, стараясь не видеть и не ощущать петли, так он иногда глотал лекарство, остерегаясь его неприятного вкуса, просунул в нее голову.

Веревка остро и неприятно пахла пенькой. Теперь, когда петля лежала на его плечах, он не чувствовал стыда, как будто уже заслужил прощение.

Его не тошнило, и было как-то уютно стоять на табурете, уколы жесткой веревки были даже приятны, приятно видеть с табурета комнату и окно, и то, что за окном – берег и море.

Все это было прежним, но и другим – ясным, веселым – и вызывало новое странное чувство, как будто кто-то с этим всем прощается, а он наблюдает за ним, и человек этот нравится ему в минуты своего прощания.

Вийка подумал, что этот человек есть он сам, ему захотелось, чтобы кто-нибудь вошел в дом и увидел его на табурете.

Сначала он представил, что вошла Подруга, потом товарищи и, наконец, учительница.

Особенно же ему хотелось прихода Пинезина. Стоя на табурете, Вийка вспоминал его насмешки и не понимал теперь, как можно было не ответить на них. Он почувствовал ненависть к нему.

Нет, нельзя уходить, невозможно, прежде надо освободиться, пойти к нему и сказать... все сказать... А что сказать? Пинезин, наверное, уж и забыл все, еще и удивится, рассердится, и получится смешно... Нет, надо просто плюнуть ему в лицо или ударить...

Вийка машинально ткнул рукой в воображаемое противное маленькое лицо Пинезина.

Вийка совсем забыл, на чем и для чего он стоит. Дернулся за рукой, вспомнил и от неожиданности вздрогнул, как вздрогнул бы, очнувшись на краю крыши.

Табурет встал на две ножки, Вийка вскинулся, потом потянулся инстинктивно к окну, в которое, как ему показалось, должно было отбросить его с табурета.

В то же мгновение табурет скovyрнулся, окно подпрыгнуло вверх и сразу же замерло резко, Вийка почувствовал, как его кто-то изо всех сил дернул за голову, будто хотел оторвать,

но боли в шее не было, боль была в сердце, он не хотел того, что случилось, нет! – подумалось ему в небывалой, рвущей сердце тоске по жизни, нет! Жить!

Была тишина, и в тишине невесомой теплой влагой объяло его бескрайнее светоносное пространство. Оно тихо вращалось, свивалось, голубело, захватывало и все глубже втягивало в себя, в свою густеющую и от того еще более ощутимую – уже сладостно нежную плоть.

Он услышал голос, неведомо откуда пробившийся, зовущий женский голос. И тотчас же ласковый, увлекающий ввысь смерч распался, Вийка разом ощутил свое тело – как нечто огромное, неподвижное, стынувшее, одновременно ощутив, но уже внутри себя, крохотную грустную раковинку свернувшегося пространства, вслед за этим почувствовал чьи-то крепкие, вокруг его рта сомкнутые губы и чужое, с силой проникающее в грудь дыхание.

– Хватит, – сказал кто-то, – он уже сам дышит.

Губы разжались.

Вийка открыл глаза. Близко и жарко подступал кровавый нежный дым, и в нем, прозрачный, чистый, холодно сиял лепесток. Вийка хотел взять, но ладонь прошла сквозь него и ткнулась во что-то горячее, влажное, живое.

– Ай! – легонько вскрикнул и неуверенно засмеялся рядом кто-то знакомый.

Дым стал таять, отступать. То, что было далеко, – стены, облака в окне, Вийка видел отчетливо, а близкое, на расстоянии вытянутой руки, заслоняло сверкание лепестка.

У окна топтался, хрустя стеклом, Пинезин, прилаживал выломанную крестовину рамы. Кто-то сидел рядом с Вийкой, шумно утомленно дыша.

Подошел, приблизил расплывающееся лицо Пинезин, сказал:

– Во дурак, отвечай тут за тебя...

Вийка привстал, чтобы отодвинуться и для чего-то узнать дышавшего рядом человека, но тут же на лоб, на глаза ему легла горячая рука и прозвучал слабый детский голос Татьяны Васильевны:

– Тихо, тихо...

Вийка откинулся на подушку, даже сквозь ладонь Татьяны Васильевны он продолжал видеть пульсирующий гладкий свет лепестка. И этот лепесток, и та странная пустая тишина, которую он чувствовал в себе, вдруг стали мучительны, они о чем-то напоминали ему – о чем-то ужасном, стыдном, чего он не хотел, не желал помнить.

– Ну, как там? – спросил вдруг Пинезин.

– Где? – удивилась Татьяна Васильевна.

– Там, где он был.

– Не поняла, простите.

Пинезин стал ходить мимо окна. Лепесток делался все прозрачней; все отчетливей проступало лицо Татьяны Васильевны: глаза, губы, тяжелая серая челка.

– А что, земля, крепко русская женщина целует! Мертвого поднимет! – Пинезин засмеялся.

Он был маленьким, невзрачным. Вийка не хотел видеть его и закрыл глаза. И как только закрыл, вспомнил обнимавший, увлекавший к какому-то необыкновенному счастью свет и голос, чей же был это голос, кто позвал его, вырвал из радостного сна? И вдруг понял: то был не сон, а смерть.

Так вот она какая – не тьма, не боль, а тихая вода, любовная истома! А рождение, жизнь – мука?

– Я не целовала, это называется искусственное дыхание, – тихо, строго говорила учительница.

– Ага, а то еще есть искусственное осе.. – Пинезин усмехнулся и не договорил.

Рука Татьяны Васильевны дрогнула и скользнула на подушку.

– Мне, пожалуй, пора, – сказала она, вставая.

Вийка неловко схватил ускользавшую руку учительницы и умоляюще посмотрел ей в глаза.

– Ты-то сиди, – Пинезин засмеялся. – Ишь, вцепился. Как в мать родную, – он открыл раму без стекла и одним махом выпрыгнул на улицу, там засмеялся и сказал:

– А я всю жизнь о негритянке мечтаю...

– Несуразный человек, – сказала Татьяна Васильевна, – и как же он догадался...

– Я его не просил, – тихо сказал Вийка и выпустил ее руку.

Татьяна Васильевна села, но уже не на кровать, а на табурет и сама взяла его ладонь.

– Как же ты так сразу, не объяснился даже, – заговорила она ласково, – мне Пинезин сказал, что ты из-за меня, но разве я виновата перед тобой? Ведь ты никак, даже намеком не дал понять... Это так странно, что мне даже не верится... Я тебе, конечно, благодарна, но ты больше не смей, – она улыбнулась, – а я должна подумать, мне теперь есть о чем...

С грохотом отворилась дверь в сених.

Вошел отец, за ним – громадный пожилой человек – хирург Захаров.

Хирург с порога густо задымил папиросой и, в дыму неся свою большую, в сивых вялых кудрях голову, подошел к кровати, оглядел Вийку и больно помял своими заросшими толстыми пальцами его шею, добираясь до позвонков, заглянул в глаза и сказал отцу:

– Здоровья у твоего дурака – на сто лет!

Отец проводил хирурга, долго надоедливо благодарил его на крыльце, потом так же долго и недоедливо благодарил Татьяну Васильевну, приговаривая после каждой фразы:

– Спасибо, что пришел, да, спасибо, что пришел...

Вийке стало неловко и стыдно перед учительницей за его неграмотную речь, старчески неопрятное темное лицо.

Он коротко застонал – и от стыда, и от презрения» самому себе.

– Что такое? Что такое? – вскричал отец по-корейски, кинулся к нему и стал отрывать от его лица ладони. – Тебе больно?

Вийка вырвался и рывком отвернулся к стене.

Отец сел на кровать и запричитал:

– Ох, горе, горе! И за что такое горе!

– Да какое ж горе, – стала утешать его Татьяна Васильевна. – Все обошлось!

– Нет, не говори, – возразил отец, – еще какое горе! Бог наказал!

– Да при чем тут бог? – засмеялась вдруг Татьяна Васильевна.

– Мама забрал, его хочет забирай!

– Бог? – не выдержал Вийка. – Ты думаешь, я ничего не помню? А я помню! – Вийка скинул ноги с постели, хотел встать, но закружилась голова, подступила тошнота и розовая мгла, ярче засветился лепесток.

– Помнишь, – помнишь! – испуганно согласился отец.

Вийка почувствовал слабость, злость прошла, но не от слабости, а от того, что он подумал о матери, увидел ее на полу с младенчески поджатыми коленями.

– Ты зачем у нее документы... взял? Зачем не отпустил? – тихо сказал Вийка, горестно и больно ощущая ее одинокую, безысходностью отравленную душу. – Она бы жила, – уже шепотом, трудно добавил он.

– Сынок, – так же тихо, мгновенно посеревав, сказал отец по-корейски, – я же для тебя... Там была война. Вы бы погибли.

– Кто тебя просил? Кому мы здесь нужны? Мы чужие... Я же с детства стыжусь всего своего, потому что хотел быть как все – русским и люблю все русское, – ответил Вийка, с ужасом осознавая, что говорит не столько от раскаяния и боли, сколько из желания понравиться учительнице.

– Ты наш, зачем же стыдиться? – Татьяна Васильевна спросила с горьким, сочувственным недоумением, и только теперь, после ее слов, Вийка почувствовал поднимающуюся теплую волну раскаяния.

– Кто я после этого? Предатель, нет, хуже... закричал он от какой-то сладкой облегчающей боли.

– Предатель? – сказал отец по-корейски и быстро придвинулся. – Кто тебе рассказал? – закричал он.

– Никто. Я помню.

– Кто? Кто? – Отец больно сжал ему кисти.

– Я же сказал – помню. И как она отравилась из-за тебя – помню, – вырвалось у Вийки. Отец вздрогнул, выпустил его руки и тихо угрожающе прошептал:

– А, так она и к тебе ходит?

– Кто? – не понял Вийка.

– Мама, – отец усмехнулся, странно огляделся и вдруг, пригнувшись, бесшумно, мягко отбежал к окну. – Зачем ты ходишь везде! – закричал он, выставив в небо два крепко сжатых кулака. – Мало тебе меня, ты и за ребенка взялась? Уходи, дура ревнивая.

– О чем это вы? – тревожно спросила Татьяна Васильевна.

Отец оглянулся, посмотрел на нее невидящими мокрыми глазами.

– Все же хорошо, – растерянно сказала Татьяна Васильевна.

Отец кивнул и вышел на улицу.

– Что с ним? – Татьяна Васильевна недоуменно посмотрела в дверь.

– Ничего, пусть, – тихо и зло сказал Вийка.

– Уж я не знаю, что у вас, но мне его очень жалко, – Татьяна Васильевна протяжно, по-детски нежно, вздохнула.

– Жалко, да? – быстро спросил Вийка. – Ничего вы не знаете! Не знаете!

– Откуда же мне знать? – виноватым трогательным шепотом спросила Татьяна Васильевна, близко склонившись к нему с высокого табурета.

В ее светлом русском лице, ясно очерченном в тихих сумерках комнаты, каким-то странным образом он увидел другое: в смуглом румянце, с горячей траурной чернотой глаз, и это наполняло его таким мучительным неразрешимым чувством, что у него неудержимо задрожал подбородок и вспыхнула у век, заслоняя все, теплая живая влага.

– Не знаете, не знаете... – повторял он горько, обвиняя Татьяну Васильевну в чем-то, ему самому не ведомом.

А Татьяна Васильевна утешающе кивала, мягко подрагивая лучистыми серыми глазами.

К ночи за ней зашли: кто-то, невидимый в темноте, поднял руку к окну, хотел постучать и, не обнаружив стекла, ойкнул.

– Татьяна Васильевна, ты здесь еще? – тотчас же позвал с улицы бойкий женский голос.

– Здесь, здесь! – отозвалась торопливо Татьяна Васильевна и подошла к окну.

– А мы уже спать хотим! Ты как? – Вийка почувствовал, как говорившая женщина улыбнулась в темноте.

– Я сейчас! – сказала оживленно Татьяна Васильевна, – минутку!

Она вернулась к Вийке, присела перед табуретом, написала на нем трехзначный номер телефона и попросила:

– Позвони завтра, ладно?

Вийка кивнул, глядя на номер. Татьяна Васильевна приподнялась и неуверенно коснулась губами его щеки.

Она ушла, и давно затихли на улице ее шаги, слабый детский голосок, но Вийка не чувствовал себя одиноким; освобождая комнату от битого стекла, опавших на сквозняке листьев

розы, он то и дело взглядывал на табурет: в пустоте над ним он видел очертания ее тела и ощущал идущее оттуда живое тепло.

Явился Пинезин, принес стекло и замотанную в кофту кастрюльку с вареными лососевыми потрошками. Пристроившись на столе резать стекло, Пинезин засмеялся:

– А ведь ты знал, что мы следим! Так вы, значит, головы нашим бабам дурите!

Вийка встал на табурет и ломиком вырвал из потолка крюк. Тонкой струйкой потекли серые перепревшие опилки. От усилия закружилась голова, помутилось в глазах, запестрел крылом бабочки лепесток.

А если бы мать родила его в Корее? Ведь был бы не он, а кто-то другой, с тем же лицом и телом, но с иной душой, об ином тоскующий, примиренный со своей судьбой, чуждый, не нужный ему, нынешнему, человек?

Как же это просто! О чем бы он ни печалился, чего бы ни стыдился и ненавидел в себе, но все это – он, он! – неразумный, неблагодарный человек. Живущий в этом мире, среди этих людей. Они, отразившиеся в его душе, – есть он сам, его часть, и этот несчастный Пинезин, поднявший звонкое стекло к раме, и Татьяна Васильевна, которой он завтра позвонит...

Значит, страдание – не наказание, а всего лишь вещество, из которого творится человеческая душа.

Роза может завять и облететь, истлеть бумажные занавески, но мать жива, пока жив он, своим существованием размыкающий роковое кольцо ее судьбы.

Светит месяц

Была годовщина смерти отца, и вы поехали домой.

Весь этот год вы ей не писали. Нельзя сказать, что вы не любили ее, но никогда не называли мамой, не могли называть и по имени-отчеству – Роза Искандеровна – с детства говорили «ВЫ», а это «ВЫ» в разговоре с ней и «ОНА» в разговоре между вами стало ее именем.

...Вы быстро росли, притолоки родного дома стали низки для вас, тесной – кроткая долина; вы ушли за перевал к Большой воде.

Другие женщины, юные, тонкорукые, отстирывали залоснившиеся ворота ваших рубаш, другие ветры трепали над серыми городскими дворами ваше заношенное в трудах белье.

Вы стали отцами, а жены ваши – матерями, огрубели их руки, помутились, поскущтели от долгих забот их ясные взоры; вы заглядывали в чужие легкие глаза, жадно грешили душой и торопливо – телом, а ОНА ждала вас.

И сейчас она ждала вас, выглядывала из густой не оседающей пыли под горячим железным боком «Икаруса».

Вас разделяли большие немытые стекла; некая дама с белым пудельком на руках стояла на ступеньках, не решаясь ступить в клубящуюся у самых дверей белесую завесу. Пуделек, поворочав женской своей головкой, выскользнул на застеленную гравием площадь, и кинулись к нему мосластые псы. Дама вытянула руки и бесстрашно шагнула наперерез. Посмеиваясь над ней и ее собачьей любовью, повалил народ в двери – за раму застывшего деревенского светлого дня.

Она касалась вас, ощупывала ваши щетинистые лица, становясь на цыпочки; маленькая, сухая, она жадно и торопливо тянула к вам черные твердые ладони: здравствуй, Илюша, сыночек, здравствуй, Никита, сыночек, здравствуй, Алеша, сыночек, здравствуйте, родные деточки...

Она пыталась нести ваши и без того легкие ноши, она семеняла меж вас, прислоняясь на мгновение то к Илюше, то к Никите и конечно же к Алеше, как к вырвавшимся из леса деревьям.

Шли быстро, потом еще быстрее в надежде опередить ее и прийти к родителям втроем, хотя бы несколько минут побыть у них без нее.

Она не отставала, как всегда, так и в старости легка на ноги. Вы злились, нет, злился старший – Илья, а вы ему сочувствовали, но и ее, побледневшую, с потом в серых чистых морщинах, жалели.

Гуськом, невольно смягчая шаг, пошли за оградку, услышали, как коротко прихлопнул Илья за собой железную калитку.

Вы не оглянулись, сели на скамью, но знали, что она, отрубленная от вас, с ласковой болью смотрит в ваши крепкие крутые спины.

Широкий плоский холмик ровно засажен кудрявым клевером; у памятника из светлой стали со свежими мелкими царапинами – счищали птичий помет – бархатились по-женски траурно и ветрено анютины глазки.

Из-под стекла, впаянного в металл, дружно и удивленно смотрели в этот свет отец и мать – это вы соединили их, примирив посмертно.

Все пространство, охваченное оградкой, было обжитым и ухоженным, и даже самый воздух над теплой травяной могилой пах чем-то домашним, крепким...

Вы выпили: Илья, Никита и Алеша. Потом, наполнив стаканчик всклень, оставили родителям – примяв доньшком головку клевера.

Вяло закусили городским очерствевшим хлебом. В молодой рябине, в сквозившей кроне, пряталась сорока и не своим – певучим влажным – голосом звала кого-то.

Так же гуськом вышли. Она нерешительно приблизилась.

– Спасибо Вам, могилу соблюдаете, – сказал Илья.

Она замахала руками, роняя привычные слезы:

– Господь с тобой, Илюша, мне это в радость, в утешение...

– В радость?

– И в утешение, – легко подтвердила она.

Вновь семенила: глазами, руками, опавшим лицом об одном молила: живой к нему не пускали, так мертвой пустите...

Вы спали во дворе, раскинув вольно тяжелые руки в веревочках вен.

Илья сердито дергал большой головой, напрягался телом – и во сне ворочал грубые литые части перетрудившихся дизелей.

Никита лежал колодой, лишь иногда покойно и сыто шевелил губами.

Алеша спал на боку в жалобной детской позе, и во сне тосковал по молодой жене.

Вы проснулись далеко за полдень. Она оттрепала в мыльной воде ваши запылившиеся сорочки, подсунула под ваши тяжелые головы белые подушки и веяла полотенцем на ленивых комаров.

Тебя, Алеша, она любила за красивое лицо и легкое сердце.

Тебя, Никита, за спокойный податливый нрав.

Тебя, Илья, больше всех, за въедливую, обо всем страдающую душу.

Не ты ли стерег отца от нее, не ты ли с взрослым презрением провожал ее взглядом в родительскую половину, не ты ли разбил большое мамино зеркало, когда ОНА засмотрелась в него, не ты ли пачкал и рвал на себе и братьях рубахи, марал ее тканые половики, подрезал лезвием ее платья в мамином шкафу?

ОНА молчала, не жалуясь, по целым дням не разгибаясь, латала, стирала, шила; иногда, против воли, ты засматривался на нее, так плавно, красиво ворочая кистью, продергивала она иглу, так робко сушила свои волосы у открытого окна.

Слезы закипали оттого, что мамы нет и вместо нее в доме эта красивая чужая женщина. Это ее, вздрагивающую, с откинутым набок, неприятно алевающим лицом, нес над бродом отец, а мама, больная, родная, плакала, накрыв свое горе больничным одеялом.

Ты воткнул в мыло острые сапожные гвозди, и ОНА, стирая, поранила ладонь, и, когда ОНА, слизывая кровь с мыльной руки, плакала над корытом, ты жалел ее, но против воли показал язык и ОНА ударила тебя, потом, опомнившись, била ударившей рукой о тонкий край ванны до тех пор, пока...

Вас разбудили ягодники: сестра – по отцу – Варя, ее муж – прапорщик Соловей и племянница Эллы.

Во дворе стало тесно: от металлического блеска «Лады», от стереофонической музыки, от воркованья Вари, от пущенных на волю розовых свиней и визга Эллы.

Соловей втаскивал в дом ведра со смородиной, увесистые кули с сахаром, по-хозяйски стуча подкованными сапогами. Ходил по дому как на родном плацу, покрикивал на баб, появлялся на крыльце и подмигивал – сначала без ремней, потом без кителя и засаленного в узле галстука и, наконец, в шикарных махровых спортивных трусах, адидасовских кроссовках, курортно загорелый.

Он шел на вас, раскинув руки, в мнимой угрозе шевелил круглыми плечами: а ну, богатыри, померяемся силушкой!

Вы смотрели лениво из-под опущенных век, как Соловей кружился, вцепившись в Алешу, тянул его от земли, багровея стриженным затылком, отрывал – и вдруг каким-то ловким коротким заморским движением тихо усадил в колосившийся пырей.

Алеша не поверил, кинулся, с веселой яростью, оскалив молодые зубы, звучно рухнул кулем – и так несколько раз.

Послали Никиту, Никита, хитрец, отвертелся: не люблю я это дело.

– А мы тебя, жеребца обутого, по простому, по-русски, – погрозился Илья, поднимаясь на Соловья.

Зять был на голову ниже, казался слабее, но Илья не верил, остерегался, забирая в ладонь служивый затылок, сторожил его умелые ноги...

Тут и ОНА подросла, рассудила мокрым полотенцем; сердцем почуяв еще далекую беду.

Соловей подчинился, с показным великодушием оставил поле боя, занозив тебе душу.

Зять надумал мыться. С трудом достали из колодца несколько ведер мутной воды.

Колодец давно уж обмелел, заилился, теперь из него не пили. Сруб подгнил, зацвел омертвело. А вы еще помнили его живой древесный цвет, освещавшую его желтизну; вода, чистая, каленая, всегда прохладно пахла листвяком.

Чистить колодец теперь опасно – сруб, утратив прямизну, ослабел, было слышно, как тяжело и придушенно он дышал.

Был бы хорош в застолье Соловей, да заел своей похвальбой:

– Сколько вы имеете? Ты вот, старшой, сколько имеешь на верфи? Я имею пять, на всем казенном, опять же! Иди к нам! Заметь – у меня склад, а на складе – ого-го!

Алеша с ответным восторгом внимал, Никита морщил лоб, с ученической заботой считал в уме чужие деньги, а зять цвел – приятен не недостаток, а уважение на нем.

Соловей вел застолье широко, прежде чем выпить, долго говорил, каждого одаривал улыбкой или лаской. К нему тянулись – справа дочка Элла обнимала, слева влюбленно теснилась жена, и только ты, Илья, смотрел подавленно, ревниво...

Затеялись петь.

Соловей только мигнул, а Варька уже летела с гитарой, стыдливо, как от мужского намека, алея лицом.

Он долго прилаживался, трогал струны, щуря черный глаз от струйки сигаретного дыма.

И ты, Илья, узнал повадку умелого гитариста, и так утешился, будто долго пел с ним о любимом.

Заиграл Соловей странно знакомое, но неузнаваемое, и, только когда запела Варя, придерживая сильный рвущийся голос, ты оторопело понял – с нежным глубоким чувством выводила она слова никчемной песенки: «...прилетит к нам волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино...»

Так же вдохновенно, жмурясь, пел и Соловей. Всякий раз на слове «бесплатно» он восторженно поднимал палец, окидывал всех мечтательным, призывающим к сочувствию взглядом.

Пели все, кроме тебя и... Эллы. Она легонько, но назойливо подталкивала отца под локоть, потом объявила: зачем вы поете мою песню, пойте свою!

– Песни не еда, – ласково поправил Соловей, – песни общие!

И тогда запел ты:

Из-за острова на стрежень.
На простор речной волны
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны!

Соловей поддержал снисходительным цыганским перебором, но ты сконфуженно умолк – забыл слова. Ты даже закрыл глаза, напрягся, как в работе, всем телом, усилием мышц помогая памяти.

– Я тут решил подстроиться, – выручил Соловей. – Скинуться бы...

Ты, переживая свою забывчивость, невнимательно кивнул.

– А давай, – согласился следом Алеша.
– Я как все, – отозвался Никита.
– Как это – подстроиться? – очнулся ты.
– Планировочку изменить, а то! Входишь в дом и сразу кухня, негигиенично, каждый опять же гость нос в твою тарелку сует.

– Не тобой заведено, не тебе и переиначивать!

– Не от хорошей жизни заведено, от отсталости...

– Ты вот что. Соловей, не свисти, дом этот мои родители ставили, нам он родной, и все останется как есть, ага? – ты притянул его за ворот, холодея душой, зять послушно подался к тебе, мирно разведя свои ухватистые руки.

Ты пошел из-за стола.

Все смотрели мимо. Ты чувствовал: что-то не так, неладно – то ли на сердце, то ли в жизни.

Она стояла лицом к тебе, быстро крутила ручку мясорубки. На полу в тазах – пересыпанная сахаром кислая смородина.

– Что, сынок?

Волосы русые поредели, теперь сохнут быстро... перестала крутить.

– Устал, сынок?

Всегда так смотрит, будто ждет чего-то.

Ты только раз назвал ее мамой, в смертной тоске увидел в ней родную: телега опрокинулась в протоке, вынырнул на мгновение, увидел ее лицо над мутным потоком, плывущие волосы, крикнул задумчиво: «Мама!», она так рванулась, что уронила грудную Варьку, едва не потеряла, спеленатую, в быстрой, густой от размытой глины, воде.

– Похудел на лицо, так тебе виднее, – ласково похвалила она.

– Вы простите, что мы вас мамой не зовем, – ты, тоскуя за нее, смотрел слепо и не видел, как она задохнулась, зажмурилась, будто в лицо плеснули чем-то горячим, – вы нас растили, поднимали, вы нам родная, – ты замолчал и увидел вдруг, как подломились ее колени, как, закручиваясь на пятках, мягко осела она на пол, успел подхватить...

Слабая улыбка сходила с ее распавшихся губ, веки дрожали.

– Что вы, зачем вы, – говорил ты, еще не веря. В детстве, бывало, играя с вами, падал отец в траву, притворялся мертвым.

Через ее лицо, расправляя морщины, бежала быстрая грозная тень.

– Эй, ну-у... Братья! – жалобно крикнул ты. – Кто-нибудь...

Ввалились гурьбой, Соловей быстро приник к ее груди ухом.

– О-е-ей, мамочки родные! – криком рвала душу Варя.

– Молчать! – отрезал Соловей. – Аптечку! Бегом!

– Какую аптечку? Где аптечка? – голосила Варя.

Соловей, оттолкнув ее, бросился вон, вернулся, на ходу потроша автомобильную аптечку.

Вы с надеждой смотрели на него: пальцами раздвинул ей зубы, поднял язык, сунул таблетку.

– Иди сюда, – позвал он Варю.

– Ой, мамочки, боюсь...

– Иди сюда, дура, – он так дернул ее книзу, что она со стуком упала на колени, – если не очнется сейчас, дыши ей в рот, дыши!

– Не умею я, ой, не умею, – редела, мотая облитым слезами лицом Варя.

Вы пошли за Соловьем, Алеша сел к нему в машину, а ты некоторое время бежал за ними, держась за капот.

Вернулся в дом – как в могилу. Осторожно, не чуя тяжести, перенесли мать в спальню. Варвара, давась рыданиями, приникла к ее губам – дышала за нее, потом ты, потом Никита.

Соловей и Алеша вернулись с врачом. Врач выгнала всех, и вы, одинокие, столпились на кухне.

Соловей ссыпал в бак для белья смородину, она не вмещалась, он давил ее безжалостно, по локоть топя в ней руки, выволок бутылку со спиртом, грохнул ее во дворе...

– Как же так, Илюшенька, как же это? – причитала Варя.

– Это я, – покаялся ты, – я только прощения попросил... попросил, – чем-то горячим грубым перехватило горло, – что мы мамой никогда не звали...

– Ой, убил, убил! – кинулась Варя, ударила кулачками по поникшей голове.

– Мать она нам, – сказал Алеша, – будем звать ее мамой, привыкали...

– Будем, – сказал ты.

– Будем, если не... – не договорил Никита.

– Живая ваша мама, – весело сказала врач с порога.

Вы увидели, что врач совсем еще юная женщина. Радуюсь, она подошла к вам и облегченно оглядела простыми глазами. Алеша быстро обнял ее, она не смутилась, подождала и сказала:

– Глубокий обморок... сердечно-сосудистая дистония...

Варя вас к матери непустила, взяла ее на себя, и вы согласились.

Никита, Алеша и зять уехали с врачом, тебе не с кем было разделить радость, ты ходил вокруг дома, трогая теплые стены, потом присел под открытыми окнами, чтобы быть поближе к родным голосам.

В сумерках так чисто и ясно светились в пол-оконницы белые занавески.

– Ой, мама, зачем ты их так любишь, – говорила Варька, – люби нас, мы тебе все ж родные...

– Вы мне родные, – тихо тепло говорила в темноту мать, – а они мои сироты, и сердце от них болит...

Ты встал и пошел прочь от дома; в быстрой круговой ходьбе тебе было легче выносить муку сострадания, вместе с резким и глубоким дыханием выветривалось из нее что-то жгучее, и она оседала нежным теплым дымом.

В стороне, пыля до небес, мягко неслась «Лада», белым огнем фар опаливая картофельное поле.

Кто-то легкий тихий стал позади тебя, ты обернулся, увидел родное теплое лицо.

– Это Вы? – удивился ты и осекся.

– Ничего, ничего, родный, ничего, Илюша, – утешила сына мать.

Вы долго молча возвращались. Над далекой рекой, над ясным стеклом сумерек восходил острый месяц, он светил всем – над полем, над домом и родными могилами.

...Когда-нибудь уйдем и мы, но над смертной мглой светлый месяц взойдет, протянутся острые ясные тени, и кто-то другой над светлым полем песню другую споет.

Первые встречи Исповедь юноши

Как слезы первые любви.

А. Блок

Мы шли берегом океана.

Девушка ступала на носки – ей было жаль своих белых туфель.

Она отпрыгнула от легкой волны, улыбнулась и, не глядя, оперлась на мое плечо.

Я почувствовал тепло ее ладони.

– Бриз, – сказал я, – береговой ветер.

– А? – улыбочиво отозвалась она, – а-а... Это хорошо... А нам долго еще идти?

– Не, скоро, – я махнул кепкой в сторону поселка, – видите, труба дымит. Это кочегарка, а контора рядом.

Мы пошли наискосок по литорали сквозь стеклянные струи теплого воздуха, поднимавшиеся от нагретой гальки, – они отгораживали поселок, тянули ввысь зыбкой грядой. Но очень скоро, как только мы добрались до береговых укреплений, текучее марево отступило за холодную быструю реку и угасло. Разом обнажились голые неприбранные улицы Песчаного.

Мне вдруг представилось, что девушка приехала ко мне, и я пожалел, что время рабочее и никто не увидит меня рядом с ней – красивой, светлокосой. По улицам бродили лишь золотоглазые лохматые собаки.

Девушка улыбнулась им, позвала, ласково и нежно, как зовут красивых несмышленных еще детей:

– Хорошие вы мои собачата, лохматушки...

Они увязались следом, тыкались холодными носами в голые колени, и девушка стала отпихивать их руками.

Я смотрел на ее светлый в небрежном проборе затылок, на чистые тяжелые пряди волос, и так хотелось дотронуться до них, что я отвел взгляд к океану.

Океан играл бликами, над ним стояло солнце, висели чайки.

Поднялись на крыльцо, я отворил дверь и сказал:

– Это и есть контора рыбокооп.

– А магазин? – спросила она.

Я показал и пошел к морю.

– Спасибо! – крикнула девушка вслед.

Я обернулся, и девушка махнула рукой.

Сейнер подвел к берегу кунгас с рыбой. Курибаны накинули трос, махнули флажком лебедчику, тот рванул рычаг, и кунгас тяжело покатился к пристани. Курибаны, развернув высокие литые сапоги, подхватывали измочаленные деревянные катки и укладывали под нос.

Бригадир полез под плоское, как у утюга, днище и выбил затычку. Журча, хлопая, потекла густая от рыбьей чешуи вода.

Курибаны свернули голенища, резина скрипела, и я вспомнил о весне, последних днях перед последним звонком.

Я просыпался рано – будило солнце, лежал с закрытыми глазами, лицом ощущая светлый веселящий жар, слушал, как мать гремит в кухне посудой, вскакивал, натягивал сапоги и бежал к реке, там валился в лодку, и хорошо было бездумно смотреть в небо, слушать легкие всплески воды о днище, ровный гул моря за поселком.

От сапог пахло рыбой, я опускал ноги в реку и отмывал чешую. Течение обжимало голенища и холодило икры.

– Димка! – позвали курибаны. – Ходи сюда!

Я подошел, они спросили, когда я уезжаю, а я не знал, потому что не решил, куда буду поступать.

Курибаны расселись на краю теплой дощатой пристани и стали говорить о своем.

Я подумал о девушке. Такие светлые тяжелые волосы я видел только в кино. В нашем поселке не было белокурых.

У нее длинные крылатые губы, когда она смеется, они не раздвигаются, а растягиваются.

Курибаны курили, кашляли, матерясь, говорили о политике.

– Кончай перекур! – закричал бригадир. – Вода ушла!

Курибаны прыгнули в кунгас, звенящими крюками подцепили сеть. Лебедка плюнула паром, тросы натянулись веером, вывернули невод на пристань – лавой потекла рыба.

Мне захотелось увидеть девушку еще раз, и я пошел к поселку.

– Куда? – засмеялись курибаны. – Оставайся с нами!

Ее долго не было, я устроился на завалинке, от стены веяло теплом, на выгоревшие серые доски садились крупные, цвета жженой металлической стружки, мухи. Я принялся сбивать их кепкой и не слышал, как девушка вышла из конторы рыбокооп и пошла к мосту.

Обогнал ее берегом моря; поджидая, спрятался за дровяным сараем. Сильно билось сердце. Впихнул руки в карманы и, насвистывая, пошел навстречу. Громко потрескивал под каблучками ее туфелек песок. Девушка улыбнулась и сказала:

– Пойдем со мной, а?

Меня удивила и обрадовала легкость и простота ее слов. Одноклассницы были другими, они ходили по поселку стайкой, хихикали, деревенели, когда парни останавливали их.

Автобус ждали на мосту. Река шумела, опоры резали ее, и перила вздрагивали. Мы смотрели в яркую зеленую воду, бросали щепки и следили, как течение уносит их.

Она ложилась на перила грудью, косы свешивались над шумными струями, казалось, летели. Я тревожился за косы, как тревожился за младшеклассников, когда они, по весне, распахивали окна и, высунувшись, смотрели во двор школы.

В автобусе нас бросало друг к другу. Она не отодвигалась, не хмурилась.

Девушка рассказала о том, как ее провожали друзья в Калуге, пугали медведями, потом вдруг задумалась, рассеянно играя косой.

Я смотрел в окно на далекий прозрачный тальниковый лес, на красноватое уже солнце. Я завидовал девушке – ее самостоятельности, ее долгой – через всю страну – дороге, разлуке с близкими людьми и даже ее нынешнему одиночеству.

В аэропорту мы взяли ее чемоданы. До автобуса нас проводил веселый, красивый летчик. Девушка так же ласково и просто говорила с ним, улыбалась ему.

Я молчал, старался не смотреть на нее, потом, в дороге, под грохот колес, частые щелчки гравия по днищу автобуса, думал о летчике: у него был узкий подвижный нос, большие обволакивающие глаза, свободные, какие-то жадные жесты, он все прихватывал локоть девушки и повторял: «Спросите Антоненко – это я!» При этом он шевелил плечами, играл глазами, наклонялся к девушке, близко придвигая свое нежнокожее лицо, как будто обнюхивал ее.

Когда мы подъезжали к Песчаному, девушка спросила:

– Приятный парень, правда?

– Да, – согласился я. Сказалось неожиданно тихо и жалобно. Девушка быстро, остро глянула на меня, разом посерьезнела и устало откинулась на спинку сиденья.

Мы отнесли ее вещи в общежитие. Она познакомила меня с соседками. Верой и Зоей, тоже новенькими в поселке.

Я долго сидел на табурете посреди комнаты, никак не мог собраться с мыслями и сказать что-нибудь веселое, хорошее, потом встал и, сердясь на себя, буркнул:

– Пошел я...

Девушка проводила меня, протянула, подхватив под локоть, руку и сказала:

– Меня зовут Лена... Мы ведь не познакомились.

Весь вечер я просидел дома. Сосед рубил ящики на дрова, ухал, громко плевал на ладони. Мать позвала ужинать. Я молча выпил ковшик воды и вышел на улицу.

Было уже сыро и холодно. Мать украдкой смотрела из окна.

Я обхватил непроизвольно вздрагивающие плечи и пошел к школе, там горел свет, смеялись и танцевали. Общежитие было рядом, я долго сидел на скамейке и смотрел на окна, мне казалось, что я слышу голос Лены.

Потом кто-то вышел с ведром к колонке, я испугался и метнулся за угол. Это была Лена. Она, должно быть, боялась темноты, часто поднимала голову, оглядывалась, робко отводя за спину косы. Струя упруго и сильно била в ведро, звук этот разносился далеко по поселку, смешивался с музыкой и невнятными голосами.

Я спустился к реке и лежал в лодке до тех пор, пока все вокруг не обросло яркими звездами.

Дома снова думал о Лене – слышал ее голос, видел ее лицо, тяжелые косы, и было грустно, как от давнего детского горя: когда-то в корыте с водой у меня умер нерпенок с круглыми и нежными глазами. Хотелось рассказать кому-нибудь обо всем, и, чтобы облегчить сердце, принялся слушать стук будильника, дыхание матери в соседней комнате и гул океана за окном.

К концу июля, необычайно знойному и безветренному для моего поселка на берегу Тихого океана, все одноклассники разъехались.

Когда мы шли вместе через летное поле или плыли на барже к теплоходу, хотелось уехать, хотелось также радоваться близкой встрече с далекими и прекрасными городами, также улыбаться своим тайным надеждам на новую необыкновенную жизнь. В эти прощальные минуты было особенно грустно оставаться.

Проводив последнего товарища, я оформился в тарный цех – сколачивать ящики для рыбы.

На работу ходил берегом, ворошил ногами морской сор, под ним, среди щепы, крабьих панцирей, скорлупок морских ежей и сухих комьев водорослей попадались яркие безделушки, прямоугольные бутылки, оброненные с чужих кораблей.

В ветхом цехе, наполненном легкими сквозняками и теплым светом, крепко пахло деревом. Запах лиственничной клепки перебивал запах рыбы.

Я научился одним движением кисти обкручивать гвоздь мягкой проволокой, коротким ударом вколачивать в доску.

Руки стали липкими от медовой смолы, покрылись влажными ранками от заноз, пальцы обросли нечувствительной мозолистой кожей, но зато штабель готовых ящиков возле моего верстака не уступал в размерах другим.

Бригадир, столяр дядя Вася, которого рабочие за глаза звали почему-то Балалайкой, все время неодобрительно посматривал на меня и в конце месяца сказал:

– Раз ты так, будешь на сдельной.

Что такое «сдельная» я не знал, но по тону бригадира понял, что сам напросился на что-то не очень приятное.

Дядя Вася перехватил мою руку, оглядел ее и неопределенно проговорил:

– А то бы сидел тихо, получал свои ученические шиши...

Научился я и перешучиваться с сезонниками, носившими для нас клепку, уже не краснел, когда они, смеясь, ерошили мне волосы.

Одна из них, Вика, даже немного нравилась мне; она занимала для меня очередь в столовой, после обеда мы ходили к котловану – купаться и загорать.

Вика никогда не вытиралась, надевала платье прямо на мокрое тело – живыми теплыми пятнами проступали бедра, груди.

Как-то я взял камень и нырнул с баржи. Шел по податливому песчаному дну, смотрел вверх на слепящую подвижную грань воды, на висящее в серебристой мгле узкое Викино тело, и вдруг стало больно оттого, что там, надо мной, не Лена.

Лена работала в магазине кассиром. Она быстро и красиво передвигала костяшки счетов сомкнутыми пальцами. Касса стояла у окна, и если Лена была в красной кофточке и светило солнце, то розовыми были её шея, щеки и даже волосы.

Увидев как-то сидящего на подоконнике летчика, я перестал ходить в новый магазин. Слышал, что летчик приезжает из райцентра почти каждый день, и все думал, когда же он летает?

Однажды я шел с работы и видел, как Лена выбежала на улицу навстречу летчику и прижалась к его плечу лицом.

Я помнил их постоянно, стоящих так в счастливом молчании – красивых и взрослых.

Зарплату получали не в кассе рыбокомбината, а в цехе – подкатили к окну пустой бочонок, перевернули вверх дном, дядя Вася разложил ведомости и деньги.

Я потоптался у верстака и вышел на улицу, мне стало неловко – никогда не имел своих денег, всегда стеснялся говорить о них, а тут целая процедура...

У реки, по остову развороченного кунгаса, ходили чайки, в пилораме выключили циркулярку, слышен стал ветер, голоса сезонниц, крики птиц.

Меня позвали в цех.

Бригадир поискал в ведомости мою фамилию, спросил:

– Тебе что, деньги не нужны?

Столяры, курившие на ящиках, сезонницы, Вика – все засмеялись.

Я расписался над толстым грубым ногтем бригадирского пальца. От ручки отвык, и подпись получилась крупной, детской – далеко не то, что я вырабатывал от скуки на уроках.

Бригадир пересчитал деньги, пододвинул ко мне.

– Сто девяносто четыре рубля, двадцать пять копеек, – сказал он.

Я небрежно впихнул пачку в карман.

– Двадцать пять на чай оставляешь?

– А, ладно... – отмахнулся я, чувствуя, что краснею.

– Я дам, ладно, – бригадир никак не мог ухватить мелочь – слишком твердыми и грубыми были его пальцы, рассердился, крикнул, – Возьми! И что б все отнес мамке!

Я сжал монетки в разом вспотевшей ладони.

Мы с Викой ушли к пилораме, сели на бревнах.

– Я люблю деревню, – сказала Вика, – устанешь ляжешь в траве, цветами пахнет... А ты?

– У нас песок, трава не растет, – ответил я и лег на бревно.

– Ты правда поезда не видел? – спросила Вика.

– Ни поезда, ни яблонь, – Вике мне почему-то было легко в этом признаться.

– Увидишь еще, – Вика вздохнула. – А мне у вас все равно нравится.

– У нас хорошо, – согласился я, – море, теплоходы...

Мы замолчали.

Вика смотрела на мои брюки, они были коротки. Сквозь рубашку я чувствовал шершавую и теплую кору лиственничного ствола.

В весенние штормы я часто ходил к старой разобранный на дрова пристани, цеплялся за сваи, поджимал ноги от катившей грозно волны, и, когда она, распластавшись по берегу, стремительно отступала, казалось, что бревно, на котором вишу, летит в море.

После штормов в песке часто обнажались позеленевшие монеты – это сезонники, уезжая, бросали их в волны.

– Знаешь, – я сел и обхватил колени, – раньше я думал, что пемза получается из морской пены. Весной ее тучами гонит на поселок.

– Дим, давай купим тебе костюм, а? – сказала вдруг Вика.

Я посмотрел на нее. Жаль, что у нее такие простые глаза и такие простые волосы. Она быстро отвернулась.

– Матери пальто к зиме нужно, – сказал я.

В продмаге, примеряя на себя пальто для моей мамы, Вика фыркала, надувала щеки, оттягивая просторные полы, но, глянув в зеркало, покраснела, торопливо выбралась из тяжелого пальто.

Взяли серое, с меховым воротником.

Когда мы шли по улице с большим свертком, на нас смотрели, Вика вдруг загрустила и отказалась войти в дом, хотя сама напросилась в гости.

Я развернул сверток, мать охнула, сказала, смеясь и плача:

– Непривычно, мне никто еще ничего не дарил...

Я пошел в кино, вернулся поздно, осторожно, чтобы не разбудить мать, прошел в комнату и чуть было не вскрикнул от неожиданности – в простенке стоял человек. Включил свет – это был черный костюм.

В кухне взял из-под газеты хлеб.

Заскрипела кровать.

– Дима, не ешь один хлеб, – попросила мать. – Я киселя сварила.

– Мама, ну зачем ты вернула пальто? – быстро сказал я.

Мне было жаль ее, жаль себя, и в тоже время как-то странно до грусти хорошо.

Мать принесла кисель, налила в кружку, приговаривая:

– Плохо без отца, конечно, учиться хочется, ясное дело, вот и ездил ба...

– Не надо об этом, ма...

– Ай, – вскрикнула мать, – костюм-то! Померяй! А как мал?

Я остановил ее.

– Чего ты, – мать мягко обняла меня, – не плачь, не маленький, не скрытничал, легче было бы...

Слезы были горячими, безудержными, но легкими.

Я чувствовал утешающее тепло обнимавшей меня руки, привычный, ласковый, размягчающий запах мамы.

По крыше ударило – звучно, весело, потом еще и еще...

Звон смешался с явственным странным бормотанием. Я подошел к окну – на улице, в темноте, струистой живой мглой стоял тяжелый августовский дождь.

Осенние штормы пришли неожиданно.

Днем было еще тихо, чисто, а к вечеру, развернув флюгер на портпункте, задул голомяный, ударил в поселок косыми струями первого снега и грозно затих.

Я читал у окна и видел, как сквозь бегущие яркие облака светился закат – мягкий от кружения снега. Перед заходом солнце выбросило широкий плоский зеленоватый луч, он несколько минут бил в глаза.

Ночью, сквозь сон, слышал, как гремит железная кровля.

Утром, часа в четыре, разбудило радио. Передали штормовое предупреждение.

Я пошел к матери, она дежурила в конторе комбината.

Ветер дул уже с такой силой, что на него можно было ложиться грудью.

Подоспел вовремя – волны сорвали деревянную уборную и бросили в стену склада. Мать подняла тревогу.

Все утро вместе со взрослыми я переносил ящики к реке.

Штормило неделю. Бетонные береговые укрепления местами обвалились, косу перемыло, океан соединился с рекой. Волны разворотили два склада, контору и тарный цех.

В поселке долгое время не было пресной воды. Сезонники пили в столовой соленый чай и плевались.

Люди ругали бригаду Пинезина, строившую укрепления, говорили, что они делали слабый раствор.

На заводском собрании парторг Бойко объявил мне и еще многим другим благодарность за мужество во время шторма. Меня удивили столь высокие слова, Бойко явно преувеличивал, но я долго помнил рукопожатия взрослых – первые в моей жизни.

К Новому году тарный цех восстановили: сорвали проломленные щиты, обшили новыми, засыпали шлаком. С заброшенного сейнера сняли тяжелую чугунную печь и установили в бытовке, просунув жестяную трубу в окно.

Спал я в те дни мало, чутко – даже во сне томился беспокойным чувством ожидания; просыпался от малейшего шороха и уснуть уже не мог, ходил по дому, прибирался или возился с печью.

Мать привыкла к моему молчанию и не беспокоила пустыми разговорами.

Я не завтракал – засовывал в карман телогрейки сверток с едой и шел льдистой дорогой в цех.

Утром ветер был особенно пронзительным, люди часто останавливались и с веселым ожесточением растирали носы и подбородки.

Обедали в бытовке. Столяры подшучивали над моими длинными, далеко выпирающими из рукавов, красными руками, подталкивали поближе к раскаленной печи.

Я грел ладони, дышал сухим усыпляющим печным жаром и вполуха слушал разговоры. Говорили обо всем: о медицине, покойниках, политике, кооперативных квартирах на юге, бане, деньгах и прогнозах на путину. Все были намного старше меня, но в рассуждениях столяров часто сквозило такое простодушие, что я невольно улыбался. Они верили, что ракеты оставляют в атмосфере дыры и это влияет на климат, верили в судьбу, в лечебные свойства водки, в домовых и сглаз... Но если они пытались втянуть в разговор и меня, я терялся, не знал, что ответить.

Почти все вечера просиживал дома – строгал соседским ребятишкам сабли, вспоминал лето и читал фантастические романы, толстые детективы без обложек, начала и конца, которые приносила Вика.

Она приходила часто. Почти все ее подруги отработали путину и с последним осенним теплоходом вернулись на материк.

Мы читали вместе, слушали радио или просто подсаживались к печке, открывали топку и смотрели на шелестящие белые угли.

Ужинали втроем. Я молчал, а мать с Викторией болтали о разном – о цветах, погоде, материке. Вика во всем соглашалась с матерью, и меня это злило.

В один из таких вечеров Вика сказала, что у кассирши Лены горе, ее бросил летчик.

– Зачем ты передаешь мне эти сплетни? – с фальшивой злостью спросил я.

– Не знаю, – Вика отвернулась к окну, – скучно. Песок и море, песок и море...

Я хотел спросить ее, почему же она не уехала со всеми к своим веселым сенокосам, но промолчал.

Лена не изменилась. Мне почему-то казалось, что она должна быть усталой и бледной.

Лена улыбнулась мне с прежней простотой и спросила, не уезжал ли я? Я ответил. Она промолчала, потрогала костяшки счетов и неловко сказала:

– Ты повзрослел... и вытянулся, да?

Мне стало жаль Лену, и я неожиданно для себя сказал ей, что люблю ее. Она улыбнулась, потому что приняла мои слова как предложение дружбы.

И потом, при встречах, мы сходились близко и, сцепив на мгновение руки, расходились – не оглядываясь, но все понимая и печалась друг за друга.

Эти случайные встречи наполняли пустые вечера долгой грустью. Она ослепляла меня, и я не замечал ни насмешливых взглядов, ни жалостливых улыбок.

Ожидание Нового года было полно неясных предчувствий, не было прежнего праздничного легкомыслия.

Двадцать шестого декабря я с бригадиром ставил «елку» в актовом зале школы.

Тяжелые ветви кедрача густо пахли лесом, гулко дробно отзывался перестук молотков, работа была приятной и каркас «елки» быстро обрастал хвоей.

В перекуры мы выгоняли из зала школьников, норовивших растащить кедрач, и шли курить в завхозовский закуток под лестницей.

Я сидел на перевернутом ведре и вспоминал, как весной еще завхоз гонял нас, мальчишек, отбирал сигареты, а теперь предлагает мне «беломорину» как равному, как мужчине.

Школьные новогодние праздники начинались для нас с того часа, когда во двор вкатывал трактор с железными гремучими санями и старшеклассников отпускали носить кедрач.

Я брал, как и все, большие охапки и нес, чувствуя их хрупкий лесной холод. В тепле хвоя покрывалась мелкой, как пот, росой, и запах ее слышали по всей школе.

Счастливчиком был тот, кто находил в зеленых, как шкурка, густых лапах кедрача крепкую, смолой облитую шишку.

Меня обидело пренебрежение Вики к нашим елкам. Она говорила, что праздник из-за них, похожих на кипарисы, кажется ненастоящим.

Вика пригласила меня на Новый год в свою компанию.

Днем я ходил на лыжах к дальнему озеру, удил пахучую бойкую корюшку, жег под берегом костер, смотрел, как на черном льду дымится тонкая поземка.

Вечером нажарил рыбы и отнес матери – она дежурила, хотел встретить Новый год с ней в сторожке, но она прогнала меня.

Я надел новый костюм, модный сетчатый галстук – подарок Вики и подошел к зеркалу. Костюм был широковат, шея выглядела особенно тонкой, я походил на какую-то испуганную птицу.

Не раздеваясь, лег.

У соседей звенела посуда, смеялись и плакали дети.

Разбудила Вика.

Она вошла почти неслышно, села в темноте на табурет и затихла. Видно было только ее лицо, мягко очерченное слабым уличным светом.

Вика почувствовала взгляд, стянула платок с головы и наклонилась ко мне. Я резко сел на кровати и спросил:

– Что, пора?

Вика вздрогнула всем телом и сказала:

– Все-то ты проспал...

Я подошел к окну.

– Тебе хорошо в костюме, – сказала мне в спину Вика. – Прямо фрайер.

В общежитии было шумно и накурено. Нас с Викторией усадили вместе, заставили выпить штрафную.

Я разом опьянел, все отдалилось – голоса, лица, если ко мне обращались, не сразу мог понять, чего хотят.

Танцевал с Викторией.

В окно был виден дом молодых специалистов, где жила Лена. Там тоже горел свет и танцевали.

Вика ругала себя за то, что осталась в поселке, говорила о своей куйбышевской жизни, поклонниках, потом вдруг попросила поцеловать ее. Я поцеловал. Вика сказала:

– Не так.

Я остановился посреди танца, вид у меня, должно быть, был глупый, Вика громко засмеялась.

Меня мутило от выпитого, и я вышел на улицу.

Над поселком стояли звезды и сигнальные ракеты. Я долго отплевывался и смотрел, как шевелятся, укорачиваются, а потом вновь удлиняются и гаснут синие тени домов.

У распахнутых дверей толпился народ, громыхали ружья, ослепительно, свирепо горели фальшфейеры.

И снова, шурша, взошли над океаном сигнальные ракеты. Океан, шевелившийся под шугой, не откликнулся и не отражал их холодного чистого пламени.

Я растер лицо снегом и пошел в клуб.

В фойе закружился со школьницами. Они вытерли мне лицо, поправили галстук, посмеялись над моим хмельным весельем и стали танцевать. Под ногами потрескивала сухая хвоя, шелестела, развеваемая легкими подолами, елочная мишура.

Явились учителя и отправили девчонок домой.

В зале было жарко. Все дружно, с каким-то тупым усердием топали под гремющий и ухающий оркестр.

На сдвинутых к стене стульях скучали дружинники.

В розовом платье с мертвой бумажной розой на плече вышла на эстраду завклубом Лида.

Она подняла руку, оркестр не сразу, вразнобой замолк: сначала гитары, потом аккордеон, затем духовые и последним ударник.

Лида постучала перстнем в микрофон, объявила викторину.

– Всегда ли Новый год в России отмечался в декабре? – спросила она и улыбнулась многозначительно всем своим крепко накрашенным увядшим толстокожим лицом.

Все на минуту озадаченно примолкли, потом потребовали музыку.

Я знал ответ и стал пробираться к эстраде. Лида спросила еще раз, притопнула ногой, показав из-под подола розовый, как язычок, носочек туфельки.

Я стоял уже вплотную к эстраде, но никак не мог решиться выкрикнуть ответ. Так было со мной однажды во время купания. Присел у самой кромки борта баржи, внизу, в нескольких метрах, плескалась вода, но броситься в нее не хватало сил.

Люди требовали музыку. Кто-то из рыбаков бросил в оркестр скомканную десятку. Лида с гримасой шутивого отвращения спихнула ее на пол и объявила ко всеобщему возмущению:

– Переходим к играм!

– Послушайте! – крикнул я. – Это Петр Первый перенес, раньше в сентябре был!

– Правильно! Совершенно правильно! – обрадовалась Лида, наклонилась ко мне, протягивая свою полную рыхлую руку, – прошу на сцену, мальчик! Оркестр, туш!

Я шарахнулся в сторону, но меня бесцеремонно перехватили и посадили на эстраду.

Лида подняла мне руку как боксеру, выигравшему бой, деловито вручила пластмассового гусенка. Все захлопали, я машинально оглядел игрушку, на полусодранной этикетке было написано: «Гадкий утенок, г. Павл...», и мне вдруг показалось, что все в зале вместе со мной прочли эту надпись.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.